

Анатолий Кругляков

НАЙТИ СЕБЯ

ПОВЕСТЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1. ВСПОМНИ, ПАРНИШКА

Давно я не видел такого яркого звездного неба. Раньше не обращал на это внимания. Тысячи раз торопливо проходил по ночным улицам городов и ни разу не остановился, чтобы взглянуть на него, полюбоваться им. А для чего, собственно? Ночью — звезды, днем — солнце... Обычное явление... И вот сейчас смотрю на звезды, и такое ощущение, будто вижу их впервые. Осенний ветерок чуть колышет прозрачную капроновую штору, дверь балкона поскрипывает, но вставленный в щель костыль не дает ей закрыться. Где-то там, в темной и холодной бездне, Сатурн и Венера, и «Черная дыра», о которой я вычитал в «Эврике». С чем ее можно сравнить? С удавом, который пожирает кроликов? Говорят, что несчастные сами прыгают ему в пасть... Это кролики, а люди? Меня всегда угнетала безысходность: не хочешь, а прыгай, и я сопротивлялся. Как уж мог. И все-таки удав ничто по сравнению с «Черной дырой». Она так прожорлива, что заглатывает планеты и галактики. Значит, ничто не вечно, если умирают даже галактики?

Как болят ноги, ноют суставы! Боль пронизывает все тело, сверлит мозг. Несколько суток уже не сплю. Снотворное не помогает, и я выбрасываю его в ведро. Вот ведь до чего дожил: не могу самостоятельно передвигаться. Сажу в кресле, держу ноги на подставке, думаю: «Что же я? Ничего не сделал, ничего не достиг, а жизнь моя, можно сказать, прошла мимо чего-то значительного...»

На столе, который стоит напротив меня, разложены книги. Чего только здесь нет: Достоевский, Толстой, Стендаль, Сименон. Все это я с удовольствием прочитываю. Наконец-то у меня появилась любовь к чтению, и, главное, время. К таким книгам, как «Повесть о настоящем человеке», «Как закалялась сталь» я не прикасаюсь. Читал их раньше, смотрел кинофильмы и постановки! Моя мама считает, что именно эти книги должны исцелить меня. Она настойчиво советует взяться за них, но мне тошно и думать об этом: неужели я в таком состоянии, что нуждаюсь в сильном допинге? Вот ведь нашли панацею от всех бед. Конечно-

но, мама, тебе неизвестно, что как раз допинг-то и убивает человека...

Эх, мама! Мне уж давно не восемнадцать. Ей кажется, что стоит мне только пересилить себя, и, возможно, дела мои пойдут на поправку. Вот уже год она ждет этого дня. Подумать только — год не расstaюсь с костылями. И сам не знаю и не могу понять, почему и отчего это случилось именно со мной? Сначала заломило в пояснице, потом заныли суставы рук, ног, и ступни загло так, будто походил по раскаленному железу...

Мама подходит ко мне, поправляет на ногах плед, берет со стола Островского и начинает читать вслух. Она не понимает, что делает мне больно, и я кричу изо всех сил: «Не надо, не надо...» Мама испуганно роняет книгу, быстро уходит в другую комнату. Кажется, я испугал ее. Прости, мама. Неужели ты перестала понимать меня? Тогда не смогу, наконец, тебе объяснить, почему боюсь этих двух книг. Глядя на них, вижу Юрины глаза: они полны боли, тоски, отчаяния. С Юрой я познакомился много лет назад. И когда думаю о нем, вспоминаю Никиту Егошина, моего бывшего тренера.

Мы приехали на соревнования в маленький городок на юге области. Егошин каким-то образом узнал, что здесь живет Юра Вознев, парализованный мальчик. Егошин решил, что общение с сильными личностями поможет нам поднять боевой настрой и мы, в общем-то слабая команда, займем призовое место. И вот во главе с секретарем горкома комсомола мы шагаем к Юре. По-видимому, для секретаря наша экскурсия не первая, и квартира Возневых давно превратилась в место паломничества туристов. Подходим к трехэтажному кирпичному дому. Нас встречают Юрины родители — измученные, рано состарившиеся. Юру уже приготовили. Он сидит в кресле, пристегнутый ремнями. Большое рыхлое тело. Господи, сколько пережил этот мальчик!

Юра прыгнул с обрыва в воду, ударился головой о дно и сломал позвоночник. Из реки его вытащили товарищи. Вызвали «скорую», которая отвезла его в больницу. В этот же день сюда доставили еще четырех ребят. Что и говорить, июль в Сибири жаркий, солнце палит нещадно, и вся ребятня проводит время на реках и водоемах. В течение недели эти четверо умерли на глазах у Юры, и только он цеплялся за жизнь.

Стою в его комнате. У стены — кровать, рядом — этажерка с книгами, в углу — телевизор. Перед ним небольшой щиток — пульт управления. Юра берет в зубы палочку, нажимает на одну кнопку — включается телевизор, на другую — говорит радиоприемник, на третью — в комнате родителей раздается сигнал... На его столе я увидел эти две книги, которые сейчас лежат на моем. Но ведь ему-то они были нужны, ох, как нужны. И он читал их по несколько раз, перелистывая страницы языком. Секретарь сказал, что «эти книги» и многие другие Юре принесли комсомольцы, взявшие над ним шефство. Мужайся, крепись, Юра... Он научился и писать, и рисовать, держа карандаш зубами. За эти три года сумел закончить среднюю школу, поступил в пединститут. Родители в душе надеются, что их сын когда-нибудь сможет двигаться. Ему постоянно делают массаж, ежедневно бывают врачи. Но я-то по-

нимал, что все это бесполезно, что Юра обречен. Оставалось только гадать, сколько времени — год, два — его организм сможет бороться с недугом. Да и сам Юра понимал это: в его глазах — боль, зависть к нам, здоровым.

Я с тяжелым чувством уходил от него. Мой моральный дух не поднялся: ночь провел без сна, думая о незавидной Юриной судьбе. Утром начал схватку вяло — и проиграл. Такая же участь постигла и моих товарищей по команде. Что с тобой стало, Юра? Прошло так много лет! «Бесполезно и вовсе не нужно о тех, кто умер, рыдать». Эти слова Стесихора часто повторяю вслух машинально и вижу на маминых глазах слезы. Зачем, мама? И вовсе я не пугаю тебя: недавно читал античную лирику, и стихи Стесихора запали мне в душу. Ведь часто бывает так: к человеку прицепятся какие-нибудь слова или навяжется мелодия, и вот он говорит, напевает... насвистывает...

Помню, как наш завхоз Фролович, сбивая в спортшколе гимнастические снаряды, под стук молотка то и дело приговаривал: «Бан-дурин»... Кто такой был Бандурин и почему он повторял эту фамилию раз за разом — неизвестно. Так он стучал несколько дней, и я, отрабатывая прием, бросая чучело, мысленно повторял за Фроловичем: «Бан-дурин»... Не странно ли, но после этого я долго не брал в руки молотка. Нет, мама, ты ничегошеньки не знаешь о Юре. Да я бы и не вспомнил о нем, если бы не это кресло, боль, стол, заваленный книгами, и томик Николая Островского...

Смотрю на сервант — лежат ампулы, лекарства. Принимаю все аккуратно. Боль не проходит, ноги будто не мои. Что-то ты, мама, уж слишком стала сентиментальной, думаю я. Возможно, годы тому виной: все-таки седьмой десяток пошел. А ведь когда-то у тебя слезу не так-то просто было выжать. И не был я послушным сыном, каюсь. Вот перебираю в памяти всю нашу жизнь и думаю о том, что если б случался, то не сидел бы сейчас в этом дурацком кресле. И все-таки — почему это случилось со мной?..

Так, молча, я всегда разговариваю с мамой, и она даже не подозревает об этом. Это лучше и для нее, и для меня. Зачем отравлять жизнь другим? Зачем нагнетать обстановку, торопить события... Я не любил спешить в детстве, и в юности, и в зрелом возрасте. Часто опаздывал: на свидания, на занятия, на самолеты и поезда. Сколько у меня из-за этого было неприятностей! Кто знает, возможно, и судьба у меня сложилась бы иначе, будь я собран и точен. А может, я преувеличиваю? Из-за этой проклятой боли белая стена кажется черной...

Я рос капризным и хулиганистым: пропускал уроки, дрался с ребятами, бил стекла в клубе, курил, пил вино. К тому времени, когда получил паспорт, уже значительно отставал от своих сверстников в учебе. С каждым годом интервал между нами увеличивался, пока не образовалась пропасть. Прошла добрая половина жизни, прежде чем понял: все, что делаю сегодня, мог сделать несколько лет назад. Я испугался. Время-то не ждет. Ведь чем дальше, тем меньше остается сил. Когда подумал об этом, то мною овладела жажда деятельности: скорее, скорее — узнать, сделать.

Мне пришлось оканчивать техникум, а потом педагогический институт, когда был женат. А чего мне это стоило! Уходил из дому рано утром, приходил в полночь. Бессонные ночи, еда всухомятку сделали свое дело. Нас, великовозрастных студентов-вечерников, было немного. Мы иногда дремали на лекциях и совершенно не понимали тех, которые говорили: «Студенческая пора — лучшая пора в жизни»... Не знаю, не испытал этого. Да, можно было закончить институт гораздо раньше, затратив меньше сил — физических и духовных. Однажды, на перемене, я спросил своего соседа: «Слушай, зачем тебе, слесарю-лекальщику высшей квалификации нужен этот пединститут да еще исторический факультет?» И он ничего не мог мне ответить, пожал плечами. К моему счастью, он не стал задавать мне, монтажнику, этого вопроса. Ну, закончил я институт, ну и что? По специальности-то так и не работал: ставка маленькая, а чтобы получать сносно, педстаж нужен. А у меня его не было. Мне перед женой стыдно — мужчина, глава семьи, а зарабатываю в полтора раза меньше ее. И забросил диплом на книжную полку.

И пошло, как говорится, поехало: переходил с одного места на другое, и в моей трудовой книжке уже было несколько вкладышей. С одной стороны, монтажником как-то неудобно работать — высшее образование имею, а с другой — не могу найти должность по душе, с приличным окладом. Нигде не мог зацепиться, ни с кем не находил общего языка. Да и трудно, когда под сорок, менять профессию, сходитьсь с людьми. Я стеснялся друзей детства, старался не встречаться с ними. Многие из них были руководителями предприятий, кандидатами наук, забойщиками, сталеварами. Я пытался понять, кем же стал я — и не мог. Чем больше думаю о прошлом, тем сильнее хочется разобраться в пережитом.

Пятнадцать лет, лучших лет моей жизни, отдал я спорту. Связывал с ним большие надежды. Полагал, что нашел свое место. И не без оснований. Несколько раз был чемпионом области по классической борьбе, выигрывал всесоюзные соревнования. Но прошло не так уж много лет, и никто не помнит о моих успехах. Сейчас я думаю: а не сон ли это? Когда встречался с теми, с которыми занимался борьбой, то никто из них и не вспоминал, что когда-то восхищался моими бросками через спину. Да, тогда я был нужен...

Четыре года назад встретил одного человека. Помню его еще мальчишкой. Он ходил за мной по пятам, с восхищением смотрел на мои призы и спортивные значки, бывал на всех соревнованиях, в которых я участвовал. И я ему говорил: «Слушай, парнишка, учись хорошо и прилежно, а все остальное приложится...» Прошло время. Парнишка вырос, выучился. Нет, он не стал спортсменом. Он вдруг оказался во главе одного из спортбществ. И такое бывает в жизни: один всегда при науке, хотя не ученый, другой... А вот он, Крылов, с детства «полюбил» спорт. Остановил он меня — солидный, облысевший, с большим портфелем, и стал сетовать на то, что «классика» в области вырождается — нет хороших тренеров, сильные-де борцы сошли, а о молодой смене его предшественник не позаботился.

Крылов забыл, что я — один из сошедших. У него будто пелена на

глазах, а уши заткнуты ватой. Он глядит куда-то в сторону, молчит. По-видимому, он сомневается в том, что я мог бы вести секцию борьбы, судить соревнования. Ведь я так мечтал об этом! Сомневается — навязываться не буду. Да и поймешь ли ты, попутчик, душу спортсмена? Мне лишь хочется сорвать с его глаз воображаемую мной повязку, крикнуть в лицо: «Вспомни, парнишка, разве ты не восхищался мною? Мне жаль уносить с собой опыт, накопленный за многие годы».

...Я выдергиваю костыль, и дверь балкона захлопывается. Мама снимает с меня одеяло, задвигает тяжелые шторы, включает настольную лампу и уходит в свою комнату. Я знаю, что она спит чутко и всегда быстро придет, если я даже тихо позову ее. Что бы я сейчас делал без мамы, и чем отплатить ей за любовь и заботу обо мне...

2. ГЛАВНАЯ ЛИНИЯ

Сейчас только и остается, что ворошить прошлое, давно забытое из детства, отрочества и юности. Никогда у меня не было столько свободного времени, но вот беда — зачем оно мне? Хочется вспомнить что-либо приятное и веселое, дабы отвлечься от боли и тоски, но не получается. Одолевают мрачные мысли. В голову назойливо лезут невеселые истории. Думаю, каким же был дураком, когда совершал тот или иной поступок, принимал неправильное решение. И в том-то трагедия, что ничего теперь не поправишь.

А может, не все еще потеряно? Если бы знать, что есть хоть маленькая надежда встать на ноги. Почему молчат врачи? Или стыдно признаться в своем бессилии? Чего уж там — пойму, переживу. Вот мама, сгорбившаяся, живая память. Хлопочет около меня, заботится. Надеялась, что вырасту, выучусь, кормильцем буду, а оно вон как вышло. Ничего, мама, наладится... Были времена и похуже.

В детстве мама часто говорила мне: «Не спеши, людей не смеши...» Она, конечно, имела в виду, чтобы я все делал как следует: и уроки учил, и улицу переходил в определенном месте, когда нет машин, и ел, старательно пережевывая пищу. Но у меня получалось не так, как у других... Я опаздывал на первый урок, потому что, стоя на перекрестке, считал зачем-то, сколько мимо меня пронесется «полуторок». Не любил коллективные походы. Надо было идти, взявшись за руки, а иногда бежать. Тут уж по сторонам не посмотришь. Обычно я выходил из строя, рассматривал пожелтевшие тополя, если это было осенью, вышагивал по опавшим листьям, и они весело похрустывали под ногами.

Все мои беды были от того, что я не мог найти свою главную линию. Чем только ни занимался в детстве! Помню, как отец купил мне ящичек с инструментом, как учил обращаться с ним.

— Старайся, сынок, — говорил отец. Он работал слесарем-лекальщиком на большом заводе, любил плотничать. Это он украсил окна нашего дома причудливыми наличниками. — Не спеши, посмотри ладком, подумай, прикинь...

Как я ни старался, у меня ничего не получалось. Если сказать от-

крóвенно, то не лежала у меня душа к слесарному делу. Я сам хотел найти свою главную линию. «Пусть ошибусь раз, другой, третий, пусть набью себе «шишек», но не надо меня насильно заставлять делать то, что мне не нравится...» — так примерно думал я тогда. Трудно сказать, как долго бы я изводил разный материал, но у отца однажды лопнуло терпение.

— Я те покажу, как вредничать, я те покажу...

За меня заступилась мама.

— Оставь парнишку в покое, — сказала она. — Зачем ему твои лобзики? Успеется... Какие его годы! Иди, сынок, покатайся на санках...

Отец какое-то время не обращал на меня внимания. Я сидел за столом, обложившись учебниками, а сам писал стихи. Помню, как сочинил про осень, унылые деревья и опавшие листья и отдал стихотворение отцу. Он прочел его, бросил тетрадный листок в печь.

— Так вот ты чем занимаешься! — Отец был рассержен. — Перестань хныкать. Вот тебе поковки, будем делать кусачки...

Перепортив массу поковок, сделал я сносные кусачки. Отец бережно завернул их в холстину, спрятал в комод.

— Так и держи марку. Не зря, выходит, учу, толк-то будет. А эти кусачки на память оставим. Вырастешь — меня вспомнишь...

Отец думал, что я пойду по его стопам, стану мастером по металлу, но он ошибся. Не хотел я больше делать кусачки: твердо решил делать то, что выберу сам, и только сам. Сложил весь инструмент в ящичек, вынес в сенки, сунул под лавку. Вернулся в комнату, сел у печки и задумался. Чем бы заняться, что бы такое сделать полезное и красивое? Тут вошел Матвейка Карев, мой сосед.

— Гляди, Коляша, какого коня сделал, — он протянул мне шахматную фигуру. И в самом деле: конь был красивый, покрашенный лаком, почти как настоящий. — Эх, Коляша, был бы у меня такой инструмент, как у тебя, — мечтательно добавил он.

Я вышел в сенки, достал ящик, принес Матвейке.

— Бери! Чё зенки выставил? — Матвейка стоял, прижав руки к груди. — Насовсем отдаю...

Он вдруг схватил ящичек и бросился из дома, крикнув с порога:

— Казенна печать, назад не ворочать...

Я смотрел в низкое окно, как через двор бежит Матвейка, оглядывается, спотыкается, задевая за колючие кусты малины и крыжовника. Ну и чудак! Бери, говорю, а он не верит. Коня сделал, а в школе лопухом дразнят. Правда, за его уши, торчащие, как лопухи, но все ж таки дразнят. И за что бы он ни взялся, всегда у него получается. И на выдумки мастак, и по силе ему нет равных. Видать, нашел он свою главную линию, а я нет. Почему? И найду ли?

То ли Матвейка тому виной, то ли еще что на меня повлияло, но я усиленно стал подыскивать себе занятие по душе. Неожиданно увлекся садоводством. Никто меня силком не заставлял, никто не принуждал. И что за характер: если бы, например, мама сказала: «Коля, займись-ка разведением цветов», я бы с отвращением отказался. Помочь, скажем, полить, прополоть, помог бы, а чтобы заниматься постоянно — нет, ни-

когда. В нашей усадьбе стал я ухаживать за крыжовником и малиной, срезал усы у земляники, посадил березку в теневой стороне дома, где до этого ничего не росло, опрыскивал яблони. В школе записался в кружок юных натуралистов.

Мы высаживали цветы и деревья, ходили в лес. Руководил кружком старенький ботаник, Семен Игнатьевич. Однажды, копая ямку для деревца, кажется, рябины, я увидел жука и наступил на него. Жучок был противенький, и мне показалось, что если я не убью его, то он нанесет непоправимый вред моему деревцу: съест корни, листья... Семен Игнатьевич подошел ко мне.

— Не надо убивать насекомых, — сказал он тихо. — Они большую пользу приносят.

— Пользу, фи... — удивился я. — Насекомые — враги человека. Насекомых всех надо уничтожать...

К нам подошли ребята, стали в кружок. Семен Игнатьевич присел на камушек, обвел нас взглядом, добрым и умным.

— Ребята, давайте представим, что станет, если исчезнут насекомые. — Семен Игнатьевич улыбнулся, протянул руку, цепко взял за мое плечо, посадил рядом. — Во-первых, леса бы освободились от злейших вредителей. Во-вторых, исчезли бы многие болезни, которые передаются насекомыми людям. Правильно?

— Правильно, — киваю я.

— Давайте сравним, — хмурится он. — Мы бы лишились сладкого и пахучего меда, больше бы никогда не видели натурального шелка, да и лекарств стало бы меньше. Все фруктовые деревья погибнут — некому будет опылять. Исчезнет множество птиц и животных. Размножатся сорняки. Земля станет пустынной: без цветов, без ароматов, без щебета птиц... Как, ребята, нужны насекомые природе, человеку?

— Нужны, — кричим мы хором.

— Будем мы любить жучков, бабочек, паучков?

— Будем, будем...

И мы любили старенького ботаника, на его уроках сидели тихо. Когда на границе погиб его сын, ему принесли похоронку в школу, отдали на перемене. На нашем уроке он и умер...

Пришла новая учительница, молодая и бойкая. Маргарита Васильевна стала руководить нашим кружком. Мы теперь не ходили в лес; она нам не рассказывала ни про насекомых, ни про зверей и ничего такого, чего не было в учебнике. И оранжерея наша засохла. Маргарита Васильевна повезла нас зачем-то на развалины Кузнецкой крепости. После этой поездки каждый кружковец получил в категоричной форме задание описать наши впечатления от экскурсии. Без такого отчета на очередное внеклассное занятие, как она сказала, можно было не приходить.

Признаться, мне не хотелось идти в кружок даже с отчетом. Меня раздражал ее уверенный, командирский голос. Ей бы не в школе работать, а прорабом на стройке... Однако сел я писать отчет. Положил перед собой тетрадку, смотрю на чистую страницу, а вижу Семена Игнатьевича, старенького, сутулого, с длинными морщинистыми руками. Вот он

сидит за учительским столом, подперев голову кулачком, закрывает глаза. Мы думали, что ботаник задремал. Сидим тихо — боимся разбудить. Тут и звонок, а он все спит... Я отодвигаю тетрадку в сторону. Нет, отчета я писать не буду...

И вот я в ИЗО. Руководительница сказала, чтобы я начинал с азов — рисовал с натуры кубики и квадраты. Это было ужасно скучно. Ах, как хорошо было сажать деревья! И куда интереснее срисовывать из учебников трех богатырей... И я покинул студию. Через несколько дней записался в кружок юных техников. Отец устал от моих поисков места в жизни и теперь тактично наблюдал, что же я буду делать дальше. Это было лучше и для него, и для меня.

После того как мы, ребята, посмотрели фильм «Центр нападения», я страстно полюбил футбол. И многим мальчишкам тогда казалось, что в этом виде спорта истинное их призвание. Два года гоняли мы тряпичные мячи во дворе. Потом, повзрослев, стали играть на школьном стадионе: по несколько часов, до полного изнеможения. И не было ничего прекраснее, чем полосатый кожаный мяч. У меня здорово получались удары с ходу, удавались финты, и я вскоре стал капитаном сборной седьмых классов. После нескольких громких побед над дворовыми командами, мы немножко зазнались, заленились, на первенстве школ города заняли последнее место. Боже мой, как я выкладывался, как носился, как бил по воротам, кричал на своих:

— Чего стал, разиня, пасуй сюда! Да не рукой, дурак, ногой!..

Какой был позор! Мы проиграли все матчи. Я заявил, что ухожу, что с такими филонами не в футбол играть, а по грибы ездить. Иду домой, размышляю: «Надо бы найти такой вид спорта, в котором победа зависит от меня самого, моей силы и ловкости. Хорошо бы заняться боксом: обманное движение, удар правой в голову, левой по корпусу — и противник под канатами. Или штангой. Подошел к ней, подумал: поднимать — не поднимать. Взял и поднял — вес засчитан — ура! А что там футбол? Игра-то коллективная! Из-за одного-двух халтурщиков пропали месяцы тренировок, рухнули надежды...»

В нашей школе появился чемпион страны среди юношей в тяжелом весе по классической борьбе. Мы узнали об этом первого сентября, когда пришли на занятия после летних каникул. Побежали в десятый «а», где учился чемпион. Каково же было мое удивление, когда узнал в широкоплечем парне Матвея Карева. И когда он успел так вымахать! Он подошел ко мне, снисходительно похлопал по спине, пожал руку.

— Приходи сегодня на вечер, семиклассник, — сказал он улыбаясь. — Так и быть — пропущу, хотя у нас строго — малолеток мы не пускаем. Но ты... ты другое дело...

Мне не понравился его тон. А, да ладно, в общем надо пойти, Матвей парень хороший, с детства нашел свою главную линию и прет прямо по ней, не сворачивает. Надо его держаться, может, запишет в борцы. И я пошел на вечер старшеклассников.

— Борьба — спорт сильных и смелых, — заявил Матвей со сцены и дальше начал, как по учебнику: — Я люблю побеждать. Чтобы одерживать победы над противниками, надо лучше их играть в футбол, бы-

стрее бегать на лыжах, поднимать тяжелее штангу. Резкость и реакцию вырабатывает баскетбол. Вот почему я занимаюсь многими видами спорта...

Потом Карев и Егошин боролись. Какой задали темп! А приемы — красотища! Борьба захватила меня и увлекла на долгие годы.

Прошла суровая зима пятьдесят первого года. Весна была дружная. Апрель выдался жарким. Идем гурьбой из школы, радуемся солнцу, птицам. Матвей Карев и говорит:

— Пацаны, айда на Кондому. Вода, как парное молоко...

Все согласились, разошлись по домам, чтобы переодеться, пообедать. Мама была дома. Она только приготовила поесть. Сразу усаживаюсь за стол. Пока ел, все ребята ушли. Я видел, как они один за другим выскакивали из дома и бежали на речку. Бегу, наконец, и я. Издали увидел ребят, сидящих в трусиках на обрыве. Ну, думаю, уже искупались. На ходу раздеваюсь, прыгаю на одной ноге, запутавшись в штанине, а потом с разбегу бросаюсь в воду. Вынырываю. Вода холодная, как лед. Сковала меня, зуб на зуб не попадает, но я терплю, плаваю. С обрыва кричат: «Вылазь, хилjak, простудишься!» Бьет озноб. Бегу, что есть мочи, домой.

Я заболел. Попал в больницу. Врач, когда меня выписывала, сказала:

— Легкие у тебя, Коля, неважные. Беречь себя надо. Мой тебе совет: закаляйся, занимайся спортом — всегда, всю жизнь...

Еще в больницу ко мне приходили ребята, учителя и занимались со мной. Поэтому я без особого труда сдал осенью за седьмой класс. Мои одноклассники, одни стали учиться в восьмом, другие — поступили в техникумы. Я же отнес документы в горнопромышленное училище. Думал, какая разница-то? Многие техники, например, работают слесарями да забойщиками. Так зачем учиться четыре года? Такую же специальность можно получить за шесть месяцев.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1. И Я СКАЖУ ТЕБЕ, МАРИЯ...

Заиграли настенные часы. Десять вечера. Как медленно тянется время! Утром должна приехать Мария. Она участвовала в симпозиуме кардиологов в Москве, а потом месяц отдыхала в Анапе. Мне-то море и солнце противопоказаны. Единственное, что разрешается, это сидеть в комнате и глотать таблетки. Ей там, на юге-то, весело, не до меня...

Скорее бы программа «Время». Люблю эту передачу. И футбол еще. И хоккей. Бывало, Мария возмущается — лекарства принимать надо, но какое там лечение, когда смотрю передачу. А что еще остается? По мне в эти полтора часа хоть землетрясение.

Закрывая глаза, живо представляю смуглое, без морщин, красивое лицо Марии, ее гибкое, сильное тело. А я вот — развалина. Думаю о

предстоящем разговоре с ней, а сам не знаю, решусь ли. Однажды пытался начать его, но Мария умело перевела разговор на другое. Но сейчас ей не отвертеться. Мне даже трудно представить, каким будет выражение ее лица, когда услышит, что уезжаю в деревню к родителям. Совсем. Кажется, что она и бровью не поведет. И я скажу тебе, Мария: «Так будет лучше для нас обоих. Зачем тебе такой, как я. Ты еще найдешь свое счастье. Вот такие дела, Мария,—продолжаю мысленно разговаривать с ней.—И чем мог я пленить тебя? Ты часто рассказывала о себе. Много помню, многое забыл, но домыслил, просиживая долгие часы в одиночестве. Да, тебе жилось не так, как мне. И родителей твоих не сравнить с моими. Они-то у тебя образованные, городские, а у меня — деревенские. Помню, как ты говорила мне: «В детстве мною восхищались; за ум хвалили, за красоту, дарили много подарков. Ты же ничего мне не даришь...»

Да, в школе ты ходила, как картинка, а я в обыкновенном лыжном костюме. Ты была наипервейшей красавицей, и я верю тебе. Наверное, с пятого класса стала получать записки от мальчиков. Тебе посвящали свои стихи школьные поэты. Домой провожали по трое-четверо ребят. Ты, думается мне, привыкла к вниманию, рано поняла, что неотразимо красива, поэтому часто капризничала, отвергала то одного, то другого, а потом долго чувствовала на себе взгляды отвергнутых и в душе радовалась и злорадствовала. Не так ли, Мария? Скажешь, что я не прав, что у меня большое или еще там какое воображение, и ввернешь заумный медицинский термин...

Дома ты была послушной. Занималась прилежно, училась на пятёрки. Помогала матери по хозяйству, много читала—все, без разбора, и вопреки прогнозам соседей домой приходила вовремя. Сколько же раз я это от тебя слышал!.. Перед твоими окнами вечно торчали ребята—тогда, когда училась в школе и когда училась в медицинском. Но ни один из тех ребят, как ты говорила мне, так и не переступил порога вашей квартиры. А почему, собственно? Что ты хотела этим показать? И часто, глядя на тебя, мать вздыхала: тебе уже шел двадцать четвертый год, а о замужестве ты и не помышляла, ей же, стареющей матери, хотелось нянчить и ласкать внуков. Ладно бы, поклонников не было.

У тебя общительный характер, это я знаю. Вокруг тебя группировалась молодежь. Ходили на каток, в кино, в театр. Со всеми парнями держалась одинаково—никому не отдавала предпочтения. Иногда ты влюблялась, но свои чувства умело скрывала. Или не влюблялась, Мария? Конечно же, влюблялась. Но в дальнейшем убеждалась, что ошиблась в своем выборе, что и любить-то этого парня не за что. Когда ты училась в институте, за тобой ухаживал Яков Гурбин, красивый франт, брүнет, отличный борец, мой соперник... Ты угадала, что муж из него будет плохой, потому что Яков слишком любит себя, самоуверен, а тщеславия на десятерых хватит. Ты была права: Яшку-то я знаю...

Что же ты искала в мужчине? И ум, и красоту, и порядочность? Доброту, силу? Все это и должно было покорить тебя, заставить тосковать, томиться. Но во мне-то, наверное, не было и половины этих качеств, не так ли? И я сомневаюсь, что ты полюбила меня, сомневаюсь

все эти годы. Здесь что-то другое... Яков три года ухаживал за тобой. Он не мог допустить, что его, умного и положительного, за которым побежит любая, стоит ему только поманить пальцем, вдруг ты отвергла. Годы шли, а ты все тянула, все ждала своего принца. Подруги недоумевали: и чего Мария ломается, кого из себя корчит? Ты отвергла Якова лишь только потому, что был человек, который любил тебя. Интуиция, жизненный опыт подсказывали, что с ним будешь счастлива... Этим принцем был я! Смешно! Ну, а где же оно, это счастье, Мария?..

Ловко же я все-таки тогда увел Марию, хваткий был. Она практиковалась у нас в спортшколе, а после окончания института работала спортивным врачом, пока я не ушел в армию. Перед тренировками и после них приходил к ней в кабинет взвешиваться, заодно дул в трубку так, что выплескивалась вода из цилиндра. Мария все удивлялась обмеривала мою грудь, выслушивала. Данные записывала в тетрадочку. «Для будущей диссертации,— говорила она.— Легкие — меха кузнечные, сердце — насос мощный, давление — идеальное. Спорт с человеком чудеса творит...» Подумать только: уже в то время она говорила о диссертации! Конечно, разговоры о том, о сем. И так из месяца в месяц, из года в год. Как-то пригласил Марию в кино, потом на танцы. У Якова глаза на лоб полезли, когда увидел нас в горсаду.

Мне кажется, Мария не верит в мое выздоровление, махнула на меня рукой. Так что же ее удерживает — сострадание, жалость, долг? Злюсь и думаю: а не из-за Марии ли веду сидячий образ жизни? А почему бы и нет? Ведь это она настояла, чтобы я получил высшее образование, при том неважно, какое. Работал и учился, недоедал, недосыпал... И опять же: таких-то «вечерников» в мою бытность было много, и при чем здесь Мария? В таком случае почему заболел именно я? Нет, мною совершена большая ошибка: не надо было вообще жениться на Марии.

Не много ли наделал этих ошибок, и не пришло ли время их исправлять? Мама, помнится, сказала: «нашел тож, ровню...» Но я любил Марию, и мне было стыдно, что она — врач, а я — рабочий. Надо мной смеялись друзья: «Ну, Колька, попал... Будешь под каблуком... Разве будет она полы мыть, пеленки стирать, поди и готовить-то не умеет, по столовкам будешь бегать...» Приходилось, конечно, и мыть, и стирать. И что тут такого страшного? Мода тогда была такая: рабочие парни стремились жениться на девушках «своего круга». Иначе, считалось, жизни не будет. А я вот нарушил «традицию». Отсюда, наверное, все мои беды. А ведь как хорошо у меня сложилось. Специальность получил хорошую, на шахте работал, деньги большие зашибал. Моя шахтерская биография очень короткая, но занимает емкую страничку в моей жизни. И когда я вспоминаю о шахте, сердце мое смягчается, душа добреет...

2. В ЛАВЕ

Мне было восемнадцать.

Помню последнюю линейку в училище. Иннокентий Иванович, директор, пожимает всем руки. Мы выходим из стен училища с одинако-

вым разрядом — пятым. Любой может заделать стойку, отпалить нишу. Вот кто из нас выстоит — покажет время.

Помню первую лаву. Отбурили ее и зарядили шпурь за один час. Мы вышли на конвейерный штрек. Взрывник крутнул машинку: один за другим раздались взрывы.

Моноotonно гудит двигатель конвейера. Мелькают лопаты: их отшлифованные лезвия отражают лучи фонарей. Я держусь, мысль-то одна: не отстать от напарника. Бросаем и бросаем уголь на транспортерную ленту. Черные, блестящие куски уплывают вниз. С непривычки начинают ныть руки, а лопата крутится у меня, как веретено. Лава не механизированная, работают здесь на отпалку. От забойщика требуется только лошадиная сила.

Когда я был на практике, то заметил: после окончания смены шахтеры стараются как можно скорее выйти на поверхность. Я все недоумевал: почему? И вот сейчас, не успел бригадир крикнуть: «Отбой», как все, кроме меня, оказались на вентиляционном штраке. Иду последним. Впереди маячат огни светильников. Сзади потрескивает кровля, и я ускоряю шаг, но мне кажется, что трещит уже где-то сбоку, чуть правее — еще шаг — и кровля рухнет... И вот бегу, шлепаю по грязной жиже резиновыми сапожищами, во все стороны летят брызги. И откуда силы взялись. В конце смены, казалось, выдохся окончательно, что еще б несколько минут — свалился бы на кучу угля...

Прошло несколько таких недель, а потом и месяцев. Как и в первый день, дежурная по общежитию стучит ключом в дверь: будит на работу. Я, как обычно, прихожу в раскомандировку последним, когда там уже много народу. Стою на пороге, заглядываю через головы в комнату.

— Сегодня двадцатое число, мы все «минусуем». В чем дело, товарищи? — донеслось до меня...

Потом молча идем в раздевалку. Натянули, поживаясь, горняцкие роботы, и через несколько минут клеть, увозя нас, забойщиков, стремительно опустилась в шахту. Теперь я не был зеленым новичком, каким пришел в шахту после училища. Работал с хитринкой: не силой брал, а ловкостью. Глядя, как я рывком, сначала на согнутые колени, потом на грудь поднимаю тяжелое бревно и легко вталкиваю его под кровлю, опытные шахтеры скупно бросают: «Парень-то ничего... Далеко пойдет...»

Лава имеет наклон в десять градусов. В такой лаве работать — одно удовольствие. Я как-то был на соседнем участке. Там пласт угля залегает почти вертикально, и лава — под шестьдесят градусов. Это черт-те что. Забойщики ходят по стойкам, держась друг за друга. А стойки скользкие, того и гляди загремишь вниз, потом никакой хирург не соберет.

Снизу, с конвейерного, крикнули:

— Какого черта не спускают крепеж? Спят там, что ли?

Иван Золотаев, наш бригадир, подошел ко мне:

— Сбегай-ка, Николай, на вентиляционный, в чем там дело?

Иду по дорожке наверх. Справа — пласт угля, блестящий, черный, с тонкими прослойками породы. Разглядываю, ковыряю породу паль-

цем. Вытаскиваю кусочек — беленький, как штукатурка... Бросаю в завал, попадаю в стойку, слышится глухой стук. Сверху посыпалась мелкая крошка, застучала по каске. Оглядываюсь. Тихо. Почти весь уступ, сверху до низу, который мы сегодня взяли, не закреплен. Кровля отчаянно давит — это видно по стойкам, которые уже поскрючивало в спиральку; по ним течет вода, и мне кажется, что они плачут. А вдруг стойки не выдержат? Лава завалится, а тут ведь бригада! Быстро выхожу на вентиляционный. Луч фонаря выхватывает из темноты спящего на затылке человека. Узнаю Федюшку Харина, молодого парня, пьяницу и лодыря. Подфутболил его левой под зад, и Федюшка кулем валится в лужу.

— Ты чего же, гаденыш, дрыхнешь, вот время нашел. В лаву лес нужен!

Федюшка вскакивает, таращит глаза.

— Без тебя, пацан, знаю...

— Что тут, Харин? — Перед нами стоял Иван Золотаев. — Вдвоем спускайте лес, быстро... Разберемся, Харин, на участке! — грозит бригадир Федюшке, а сам бежит в лаву.

Кладу тяжелые бревна на конвейер. Харин кричит:

— Будет, пацан, будет, ваяй на свое место, сам все сделаю.

— Иди ты, — огрызаюсь я. — Иван же сказал: вдвоем надо... Опять заснешь. А как лава сядет, что тогда, дурак?

Федюшка зло плюется.

Умotalся я в ту смену. Иду к стволу, еле передвигая ноги. Меня догоняет Золотаев:

— Приходи, Николай, в восьмую комнату. Поговорим, в шахматешки сыграем. Сколько ты у нас? Около года уже, а живешь отшельником. Вечером-то чего делаешь?

— Сплю, — говорю я устало. — И вечер сплю, и ночь... На выходной домой уезжаю, тут, рядом.

Оборачивается Федюшка, зло плюется:

— Деревня...

— Мы недавно переехали, — отвечаю я на выпад Харина. — До этого в городе жили, в своем доме. Нашу улицу, старую, снесли, построили на ней кирпичные коробки. Отец с мамой не захотели жить в таком доме, получили за снос деньги и купили в Сосновке домик...

— Куркули, — бурчит Федюшка...

Он мне порядком уже надоел, и я с ненавистью смотрю в его широкую спину, но бригадир подталкивает меня, говорит, улыбаясь:

— Не обращай внимания, берети здоровье... А в гости заходи...

3. ЗОЛОТАЕВ, ГВОЗДЕВ И ДРУГИЕ

Не пришел я к Ивану в гости, потому что вскоре уехал учиться. До сих пор жалею, что не подружился с ним. И если, бывало, встречал хорошего человека, то всегда сравнивал его с Золотаевым, вспоминал моего первого бригадира. Конечно, он сейчас постарел, изменился, но

мне он видится таким, каким был в двадцать пять лет: среднего роста, широкоплечий и жилистый, с развитой мускулатурой; он бы мог стать первоклассным борцом или гимнастом... Его карие глаза, глубоко посаженные, смотрели пытливо, с какой-то пронизательностью и прямоотой. У него была крупная голова с короткими, черными волосами, удлиненное лицо с прямым носом и слегка выпирающей губой, которую он всегда прикусывал, и оттого трудно было понять: сердит ли он или в хорошем настроении.

Иван Золотаев не обладал большой силой, но был ловок. Он был мудр, имел чувство юмора. В нем как бы жили два человека: один — практичный, деятельный, другой — невозмутимый. Он здорово работал сам и не давал поблажки нам. Он часто раздражался, но никогда мы не видели его скучающим. Он любил пошутить, но не любил крайностей.

Помню, как нам дали комбайн «Донбасс». Меня поставили подборщиком: я убирал за машиной уголь. Работа считалась простой. Я старался не отставать от комбайна, потому что за мной шли крепильщики, которые удивительно быстро устанавливали стойки. Вдруг пошел большой прослоек угля. Что делать? Я замешкался...

— Шуруй-вкальвай, — кричит Федюшка. — В общаге спать будешь, на пятки наступлю...

Ну и зануда... Беру топор и начинаю рубить прослоек, а потом бросаю куски угля лопатой на конвейер. Дело пошло. Тут орошение у комбайна забарахлило. Пыль плотно повисла в воздухе: зашкряпало на зубах, забило нос. Дышать стало нечем, было жарко, а шум от двигателя, грохот отваливающегося угля совсем оглушили меня. Наконец мы подъехали к вентиляционному штраку. Здесь надо развернуть комбайн, чтобы на холостом ходу спустить его по вычищенной мною дорожке вниз, до конвейерного штрака, от которого машина вновь начнет рубить уголь.

Машинист Гвоздев выключил двигатель, стало тихо. К нему подошел Иван Золотаев.

— Слушай-ка, друг, так работать нельзя. Одна искра — и от нас — головешки... — Иван стоял над Гвоздевым, который пытался ключом отвернуть неисправную форсунку у шланга. — Не можешь справиться с оросительной системой — пошлю за слесарем...

— Чё привязался-то, чё? — поднял голову Гвоздев. — Пока слесаря найдем, полсмены простои́м. А за простой гроши не платят, знаешь?

На Гвоздева заворчали забойщики, и тот махнул рукой, отошел от комбайна.

— Черт с вами, ищите слесаря. Для вас же хотел. Смену-то как-нибудь бы дотянули... Без заработка сегодня останемся...

Мне не понравились его слова, да и сам Гвоздев. Смотрю на него, как на музейный экспонат. Небольшого росточка, худощавый, вертлявый, лет эдак под сорок. Пришел к нам с другого участка. Работает в нашей бригаде временно. Говорят, что Гвоздев единственный в своем роде балагур и насмешник на шахте. Однажды краем уха слышал, как на острое слово кто-то сказал: «Вот это да! Это по-Гвоздевски». Обращив внимание, что я пристально рассматриваю его, Гвоздев усмехнулся:

— Чё, салага, употел? Гы-гы-гы... Откуда будешь? — спросил он,

обращаясь ко всем сразу. — Пряткий! Я погрузчик у комбайна подвинутил... Прослоек пошел толстенный, а парень ничё, рубит, кряхтит, да рубит, ты-гы...

— Значит, комбайн может сам чистить себе дорожку? — спросил Золотаев.

— Может, ясное дело... Машину-то беречь надо — кормилица наша, — ответил Гвоздев. — В каждой бригаде ставят кого-нибудь на подчистку. И с этим шелкопером ничего не случится...

— Как в других бригадах — не знаю. А в нашей так не будет, — резко сказал Золотаев. — Опустит, говорю, погрузчик до отказа. И чтобы дорожка была чистая, понял?

Иван Золотаев повернулся ко мне:

— Будешь, Николай, крепить, а сейчас слетай-ка на конвейерный за слесарем...

— На-ка ведро, нацеди заодно энергии, — поспешно сказал Гвоздев. — Слесарь поможет...

Горняки притихли. Золотаев прислонился к стойке. Я не видал глаз забойщиков, но чувствовал, что они с нетерпением ждут: возьму ли я ведро? Какая глупая шутка! Многие фэзэушники еще до того, как спуститься в шахту, знают о ней, но на потеху бегают... А потом вместе со всеми смеются и радуются больше оттого, что они стали теперь своими в доску. Такие люди, думаю, чувствовали все-таки себя отвратительно: ведь они сознательно дали себя обмануть, дали повод для дальнейших насмешек. Нет, со мной «не пролезет»...

— Возьми ведро, — грубовато повторил Гвоздев.

Резким ударом правой ноги выбиваю ведро из его руки. Оно, позвякивая, покатилося по лаве.

— Ты чё это, чё? — отшатнулся Гвоздев, поглядывая на забойщиков. Не найдя поддержки, процедил: — Ну и бригадка... А этот, ребята, у вас чокнутый!

Ко мне подошел Иван Золотаев, хлопнул по плечу:

— Молоток, кувалдой будешь...

И я уже люблю этого парня, готов за ним в огонь и воду...

Спешу на конвейерный штрек. Слесаря нашел за ремонтом решетчатой цепи. Объясняю, в чем дело. Слесарь поднимается, берет сумку с инструментом, идет за мной. Подходим к комбайну. Слесарь ловко откручивает форсунку, ставит новую.

— Качни-ка, хохмач, воду... — это он говорит Гвоздеву.

Из шланга в нескольких местах брызнули фонтанчики.

— У тебя же шланг порублен... — слесарь накладывает шины, уходя, добавляет: — Следи за шлангом.

— Не учи ученого, — бурчит Гвоздев. — Поехали, ребята...

Комбайн работал, как часовой механизм. Пыли не было. Я шел последним и ставил ближние к забою стойки. Дорожка была чистая, ровная. Знает все-таки дело Гвоздев! Почему же придуряется? Обязательно надо кого-нибудь разыграть. И не понимает, что новичок уже пошел другой, грамотный, что не я, так другой дал бы отпор. Его тут «хохмачом» дразнят. Ну и ну...

В конце смены, когда разворачивали комбайн для второго цикла, пришлось-таки схватиться с Гвоздевым. На этот раз из-за Федюшки. Или нарочно, или по недоумению, но Федюшка сбежал «за энергией», а потом рубанул с плеча новенькую рукавичку Гвоздева, в которую машинист вложил болт. Топор выкрошился, все хохотали, а Гвоздева разрывало не то от кашля, не то от смеха. Когда, в окружении стонущих забойщиков, Федюшка пережимал толстый кабель, надеясь прекратить доступ электричества к двигателю машины, я подбежал к нему, вырвал кабель.

— Брось дурить...

— Отдай, — прорычал Федюшка, но все уже разошлись.

Гвоздев нахмурил брови, едко заметил:

— Ни нам, ни вам, эх... Ты чё такой-то? Шуток не понимаешь?

— Шутки-то разные бывают. Одни — смешат, другие унижают. Да и «покупки» с бородой. Скучно, Гвоздев, честно. Давай что-нибудь новенькое...

Иван Золотаев, слышавший наш разговор, одобряюще кивнул мне.

И все-таки меня стали называть парнем, не понимающим шуток. Это было не совсем так, но я не спорил. Не буду же доказывать каждому. Главное, меня перестали задирать. Я рассуждал так: надо отличать шутку от насмешки — и давать отпор, всегда, везде.

— Эх, Федя, — говорил я какому-нибудь шутнику, привязавшемуся ко мне. — Давай-ка дуь, пока трамваи ходят...

С тех пор я и стал делить всех людей на золотаевых, гвоздевых и федюшек.

4. ВОСЕМЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Мне все-таки довелось встретиться с Федюшкой, когда я приехал на преддипломную практику. И радостно было, что вновь повидался с молодостью, и грустно, что не нашел Золотаева, который работал в другом угольном бассейне. Как только увидел общежитие, сразу защемило сердце. Бревна барака почернели, людей тех, которые жили здесь когда-то, сейчас не было. И я уже не тот. Сказать откровенно, боялся спуститься в шахту — то ли отвык, то ли еще что. А вдруг обвал. Мало ли было случаев на моей-то памяти. А у меня Мария, сын. Да и Мария против того, чтобы я работал в шахте; она скоро будет заведовать отделением и, конечно, со мной в этот поселок, или в любой другой, не поедет...

Последний курс техникума. Сданы все экзамены. В студенческом общежитии шумно. В нашей комнате, огромной, как спортивный зал, собралась вся группа. Углы заняты чемоданами и рюкзаками. Мы сдвинули столы, достали закуску: консервы, вареную курицу, колбасу, хлеб и соль а я выставил двухлитровую банку малинового варенья. «Добровольцы» сбежали в магазин за водкой — он был рядом, и мы начали пировать. «Женатики», в том числе и я, сидели кучкой. Нас — треть группы. И вообще, только Залевин молодой — ему двадцать два. Остальным под тридцать, а Кеше Медникову — больше сорока. Он пришел к нам

прямо на третий курс. Работал лет пятнадцать директором училища. У него было трое детей, свой дом, машина, но не было диплома. Помню, он вошел к нам в комнату, поставил чемодан, сказал скромно:

— Я — Медников. Буду жить с вами. Вы — из группы подземной разработки? Где, ребята, свободная койка?

Мы показали ему койку, а я подошел к нему, хлопнул по плечу, сказал:

— Привет, Иннокентий Иванович! Не узнаете?..

— Какой бы я был директор, если бы не помнил своих учеников, — ответил он, улыбаясь, протянул руку. — Привет, Коля. Как здоровье?

Перед Кешей проблемы трудоустройства не было, он вновь станет директором, а мы гадали, куда будет распределение: на шахту, в училище мастерами или в общеобразовательные школы учителями труда? Конечно, большинство хотели в шахту. Особенно те, которые уже поработали, имели специальности. Во-первых, и заработки высокие, а во-вторых, подземный стаж сохранялся.

В Кузнецк мы приехали утром. От вокзала до горсада прошли пешком. Улицы пустынные. Был апрель. Под ногами похрустывает тонкий ледок: ночью были заморозки. В саду занимаем несколько скамеек и ждем сопровождающего, который уехал в трест за разнарядкой. Через час он возвращается, объявляет:

— На «Западную» — пять, на «Абашевку» — пять, на «Глубокую» — пятнадцать человек.

Прощаемся с ребятами. Наша большая группа, во главе с Кешей, отправляется на трамвайную остановку. Садимся в вагон, и трамвай пудно тащится через весь город. Два часа надо ехать до поселка, а потом минут двадцать идти до шахты. Этим маршрутом, бывало, от шахтового общежития ездил я во Дворец на тренировки...

Прежде чем спуститься в шахту, проходим медицинскую комиссию. Нас очень уж тщательно проверяют. Раньше побываешь у глазника, у терапевта, который постучит по груди, послушает, вновь постучит и подпишет «бегунок». Сейчас я обхожу множество кабинетов, сдал десятков анализов, и вот сижу перед дверью с табличкой: «Главный врач», жду своей очереди. Выходит Кеша, кивает мне, и я поднимаюсь, трепетно переступаю порог. Разговор был коротким. Собственно, говорил главный врач, а я молчал.

— Менять вам надо профессию, молодой человек, — он покачивает головой. — Сейчас вы молоды, спортом занимаетесь. Это хорошо. Но годы-то идут, а в шахте сыро, сквозняки, угольная и породная пыль... Простудитесь раз, другой, и пошло-поехало. Будете на лекарство работать. — Он кладет снимки в папку, закрывает ее, и я понял, что разговор окончен, беру со стола «бегунок», а главврач на прощание добавляет: — Подписал я вам... Запретить-то не могу, а так... в порядке совета.

Настроение паршивое. Менять так менять. Вот Мария-то обрадуется. Иду на сборный пункт — к бытовому комбинату шахты. Здесь узнаю о распоряжении главного инженера: всех на участок № 4 в одну лаву, по пять человек в смену. Подбегает Кеша:

— Ребята, у кого с собой удостоверение забойщиков? Нас оформляют учениками. Я же работал бригадиром, когда нормировщик еще под стол пешком ходил.

Переглядываемся. У многих есть удостоверение о пятом разряде, но у нескольких ничего с собой нет. Решаем: идем к нормировщику и будем кричать в пятнадцать глоток, нестройно, чтобы он ни черта не понял. Если не поможет — идем к главному инженеру, к директору... Мне-то было все равно, по какому разряду работать, но я пошел со всеми — и мой голос должен прозвучать за справедливость. Вваливаемся к нормировщику, выстраиваемся несокрушимой стеной. Тот не теряется, дает первый залп:

— Это что же, по пятому разряду? Выходит, опытным шахтерам вас «обрабатывать». Не согласятся они! Ни одна бригада не возьмет. Оформляю учениками: и для вас надежнее — меньше спросу, и для нас выгодно...

— Я пять лет работал в шахте — пятнадцать директором училища, — стучит себя в грудь Кеша. — Да разве вы меня не знаете?

— Н-не з-наете!? — угрожающе кричим мы на разные голоса. — Он не знает Иннокентия Ивановича! Каково, а? Он н-не знает Иннокентия Ивановича!..

Нормировщик хватается за голову:

— Тише, тише!.. Да знаю, знаю Иннокентия Ивановича, — сдается он. — С вами-то все ясно, Иннокентий Иванович...

— Мы все перед армией работали на шахтах, — говорю я и выступаю вперед. — Посмотрите мое личное дело, Поселенова Николая...

— Уф! — отдувается нормировщик, откидывается на спинку стула. — Ладно, ребята, возьму грех на душу. Вижу, вы взрослые, не подведете, работать будете на равных...

— Какой разговор, — отзываемся мы и дружно выходим в коридор. Итак, все устроено. Первая пятерка спускается в шахту.

Раннее утро. В раскомандировке толчея. Звеньевой Харин волнуется:

— Некогда мне нянчиться с ними!

— Ребята хорошие, у них опыт есть, — говорит начальник участка. — А нам план вытягивать надо. Благодарил бы, что рабсилу получил...

— Так это ж студенты! — капризно надул губы Харин, повернулся к нам, пятерым, тихо сидящим рядышком на скамейке, оглядел каждого, остановил оценивающий взгляд на мне. — Этого парня, честно, где-то видел...

Узнаю Федюшку. Я его сразу узнал, как только вошел сюда. Мы не виделись восемь лет. Он постарел, полысел, обрюзг, руки толстые, покрытые рыжими волосами. Харин вдруг тычет в самого молодого, Залевина, пальцем:

— Ты будешь брать нижнюю нишу, — угрожающе говорит он. — Посмотрим, на что способен. А потом ты, а потом... — Федюшка тыкал в каждого пальцем, дошел до меня, и его рука повисла в воздухе: — И где этого парня видел?..

Федюшка так и не узнал меня, а «раскрывать» себя не хотелось. Мог бы посмеяться над ним, но зачем? Это не в моих правилах. Прошли годы, Харин стал звеньевым, ударником труда. А что когда-то он был шутом и разгильдяем, все уже забыли. И слава богу. Мне-то в шахте уже не работать. Надо было идти в физкультурный. За каким чертом получил специальность, которую нигде не смогу применить?

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1. КОВЕР ПОКАЖЕТ...

Смотрю на книжную полку, где у меня стоит томик, переплетенный в мастерской. В течение многих лет подробно записывал в него проведенные мною схватки, мысли по тактике борьбы или просто какие-либо «посторонние» эпизоды. На трехсотой странице остановился. Этот «рабочий» дневник всегда возил с собой, потому что с некоторыми борцами встречался не раз, и стоило мне найти нужное место, прочесть, как я уже знал о своем противнике все: в какой он стойке борется, его «коронный» прием и немало других незначительных, но для меня очень важных деталей. Перечитывая записи, дополняя, сравнивая, я обнаружил одну закономерность: у каждого человека свой «почерк», и даже ошибки он допускает одни и те же. Просто надо всегда помнить об этом, не попадаться на «коронку» и при первой возможности атаковать. Что я и делал.

Вначале дневник здорово помогал. В области мне не было равных. Я выигрывал у всех мастеров в своем весе, какими бы они громкими титулами ни обладали и, главное, в какой бы спортивной форме сам ни находился. Выигрывал прикидки на сборах, когда решался вопрос, кому ехать на республиканские соревнования. Как правило, попадал в сборную... и терпел поражения. Так было два-три раза. Тренеры только разводили руками. Они удивлялись тому, что я мог победить сильного спортсмена и проиграть слабому. Секрет-то и заключался в том, что, найдя знакомую фамилию в дневнике, прочитав написанное, я живо представлял схватку, вновь переживал ее, намечал план действий. Но стоило мне встретиться с неизвестным, как я терялся...

Меня, под разными предлогами, не стали приглашать в сборную. Я очень переживал. Заведя дневник, задумал, что он поможет мне совершенствовать мастерство, а на самом деле я топтался на месте. В конце концов поставил дневник на полку: выбрасывать-то было жалко. Мои дела, когда перестал пользоваться «шпаргалкой», сразу пошли на лад: надеяться теперь было не на кого!

Помню, как во многом подражал Кареву: манере держаться на ковре, заимствовал несколько приемов — для чего внимательно следил за всеми его схватками, а потом старательно записывал их. Однажды, просматривая «Советский спорт», прочел заметку, в которой сообщалось, что Матвей Карев выиграл первенство мира в Риме. Эта новость

потрясла меня. И как ему все удастся? За что бы ни взялся — сделал. В детстве был хоршим товарищем, правда, любил прихвастнуть. Нет, Матвей много работал. Все хиханьки, шутки, но это внешне. Знаю я, что он выделял своим инструментом!

Оставив газету, стал быстро собираться в спортшколу. Положил борцовки, трико, мыло и полотенце в балетку — маленький фибровый чемоданчик. Мода, ничего не скажешь. Потом, через много лет, появились портфели. Еду в трамвае и злюсь, что он еле тащится. Опять опоздаю на тренировку. А Егошин уже дважды делал мне замечания. Возьмет и выгонит... Я же твердо решил больше не опаздывать, не пропускать занятия, чтобы догнать Матвея.

Так думал я, наивно полагая, что буду чемпионом мира, если сильно захочу. Эх, молодость! В каком году это было? Надо бы почитать в дневнике. Давно не раскрывал его. И вот уже несколько дней ловлю себя на мысли: мне хочется дневник почитать, встретиться с молодостью. Зову маму. Прошу подать мне книгу в пестром переплете. Она охотно выполняет мою просьбу: ей-то легче, когда я что-нибудь читаю, а не сижу, вперив взгляд в пустоту.

Кузнецк. Июнь, 1956 год.

В огромном гимнастическом зале спортшколы шум и гвалт. Играть в баскетбол. Это наши борцы. Только они могут так кричать и толкаться.

— Скорее, Коля, разминка идет вовсю, — говорит Никита Егошин, когда увидел меня в дверях. Он сидел на барьерчике. — Сегодня будут прикидки. Отбираем кандидатов в сборную города. К спартакиаде народов России готовимся. И чего ты стал пропускать тренировки, опаздывать?

Я промолчал. Иду раздеваться. Да и чего говорить? Живу за городом в шахтерском поселке, работаю в шахте. Иногда так навкалываешься, что не до спорта. Да чтобы доехать сюда, часа два требуется. Выхожу из раздевалки, когда в зале никого нет. Подхожу к мячу, поднимаю, бросаю по кольцу. Промазал. Ногой у меня получается лучше. Начинаю жонглировать мячом, подбрасывая его то носком, то пяткой. Знаю, что если не в первой паре, так во второй буду бороться с Яковым Гурбиным. Мы с ним в одном весе, легком. Он повыше, стройнее, с эластичными мышцами: Гурбин постоянно занимается с резиной и никогда не подходит к штанге, поэтому руки у него не отекают, способны выдерживать длительную нагрузку. Он постарше меня, учится в Сибирском институте на горном факультете.

Вхожу в зал борьбы. Слышу:

— В правом углу мастер спорта Яков Гурбин, горный инженер без пяти минут... — начал Егошин восторженно, поглядывая на меня, и я стал на угол ковра. — В левом углу Николай Поселенов, подмастерье...

Ребята засмеялись. Егошин любил пошутить. Все об этом знали и не обижались. Иногда обижался один я, потому что его шутки не всег-

да мне нравились. Егошин знал это и частенько подбрасывал мне «мины», чтобы раззадорить.

Начинаем бороться в быстром темпе, без разведки. Мы часто встречаемся на городских соревнованиях. Счет у нас равный. За пределами области выступаем в разных командах. Гурбин за сборную «Буревестника», а я за сборную sportбщества «Труд». Когда же надо выстав-лять команду на зональные или республиканские соревнования, тренеры приглашают Якова. Тут я не обижаюсь. Жду своего часа и верю, что время мое скоро придет.

Шестая минута. Я активнее. Всем известны мои броски через спину как в левую, так и в правую стороны, которые я отработал до автоматизма. Это сдерживает Гурбина. Он не осмеливается проводить свой коронный прием «бросок через грудь», потому что не раз от моего молниеносного «бедра» оказывался на лопатках. На ковре не схватка, а толкотня. Егошин недоволен. Покрикивает на нас. Но мы понима-ли, что встреча отборочная, серьезная, поэтому на рожон не лезем. На-ступаю, раскрываюсь, смело иду в захват, но Яков вяжет руки, прово-дит ложные «нырки», создавая видимость активности. Мне это надоело, и я провожу прием, срываюсь, попадаю в партер. Мгновение — и ока-зываюсь в воздухе, мелькнул потолок. Пока соображаю, что произошло, мои лопатки припечатываются к коври. Поднимаюсь,жимаю Якову руки, недоумеваю: попался на прием, как мальчишка. Подходит Яков.

— Егошин передал, чтобы ты остался после тренировки... Пока-жем тебе «обратный пояс», — он говорит снисходительно. — Теперь-то можно, ты мне уже не конкурент...

И вот прикидки закончились. Егошин отпустил всех в раздевалку, а мы вдвоем выходим на ковер. Тренер ставит меня в партер, а Яков раз за разом проводит «обратный».

— Выставляй руку, выше корпус, еще выше.. Сбивай его движени-ем плечевого пояса, резче, вот так надо... — командует Егошин, и я уже неплохо защищаюсь. — Молодец! — добавляет Егошин, кивая мне. — За это и держу тебя, а то бы давно отправил к другому тренеру, в твой «Труд». Да и Матвей за тебя «мазу держит». Слышал новость-то? Чемпионом мира стал. Так-то... Работать надо...

Мы идем в раздевалку. Яков потихоньку объясняет мне, что уви-дел «обратный пояс» на зоне в прошлом году. После тренировок, когда никого в зале не оставалось, отработал с чуелом. «Ничего, ковер еще покажет, кто из нас сильнее... Вот начнешь работать в шахте, тогда посмотрим, что из тебя будет...» — думаю я, укладываю трико, ботинки в чемоданчик, захожу в душевую.

2. ДОМОИ... НА СУТКИ

Отвлекаюсь от дневника, который держу на коленях. Вспоминаю деревню, отца и маму. И кажется мне, что сижу один в кинотеатре. Смотрю интересный фильм, но только лента раскручивается в обрат-

ном порядке. Точно так, когда наблюдаешь хоккей по телевизору — забил гол, и этот момент показывают раз, другой...

Исполнился год, как я работаю на шахте. Беру отпуск, еду к родителям в деревню. В Сосновку попал в полдень. Жарко. Иду по улице, заметаю пыль широченными штанинами. В воздухе носится паут. Коровы забрели в воду — одни головы торчат. Подхожу к дому — никого. Нахожу ключ под половицей, открываю, раздеваюсь в сенках. Увидел под лавкой кувшин с квасом и выпиваю шипучую жидкость до дна. Появляется мама.

— Мне уже сказали, что ты приехал... Я на покосе, отец в кузне. — Лицо у нее в пыли, видны одни глаза, да зубы блестят. Она достает из подполья крынку молока, нарезает хлеб, идет умываться. — В отпуск, значит. Вот и хорошо, — звучит ее голос из прихожей. — В совхозе поработаешь, стога метать будешь...

— Я в отпуске, мама. С меня шахты хватит!..

— Чего же ты будешь отдыхать, когда все работают. В деревне днем никого нет... — спокойно говорит мама.

— Загорать буду, купаться... — Аппетит у меня пропал. Смотрю на маму, как она ест, спешит и давится.

— Мне надо идти, — говорит она, — я ведь на полчаса... Пора-то у нас горячая, ты огород полей — посохнет все...

Мама убегает. Я начинаю поливать огурцы. Подхожу к большой кадке, черпаю воду огромным чайником с широким и длинным носом, запаянным жестянкой с дырками. Огурцы мама сажит на навозе, который от поливки горит, согревая землю, и огурцы растут, как в парниках. Грядки во всю длину плетня. Одной рукой раздвигаю хрупкие побеги и лью так, чтобы не подмыть корни. Полив огурцы, перехожу к капусте. Не успеваю бегать к воде. Изрядно пропотел. Сбрасываю рубашку. Закончив поливать капусту, берусь за помидоры. И куда столько, для чего? Смахиваю пот с лица, бросаю чайник. Ведер десять уходит на поливку. Ежедневно. В кадке-то все пятьдесят. И это приходится делать маме! Снова поднимаю чайник, продолжаю поливать и от скуки затягиваю любимую мамину песню: «Сама садик я садила...»

Вечером встречаемся за столом. Чего тут только нет: квашеная капуста, соленые красные помидоры — все с огорода, молоко — мама только подоила корову Маньку, прямо на пастбище.

— Борьбу не бросил? — спрашивает отец. — И на кой черт она тебе?

Молчу. На эту тему уже много переговорено и снова начинать про одно и то же совершенно нет желания. Отец свое, я — свое.

— Как на работе? — переходит он на другое. — Свадьбу когда сыграем? Шахтерку, поди, в дом приведешь...

С некоторых пор отец прямо-таки атаковал меня. О чем бы ни заговорили — все к женитьбе сведет. Сначала я психовал, кричал, что на кой черт мне жениться, если еще в армии не служил. Отец с железной логикой доказывал, что невестка будет жить в доме, помогать по хозяйству, а то с меня, как от козла молока. На это я отвечал, что времена сейчас не те; пусть покажут мне дуреху, которая бы согласилась

жить в деревне, возиться в навозе. Из деревни-то молодежь в город бежит, а какая из города поедет сюда? И вообще, когда женюсь — в городе жить буду. Мы спорили с отцом до хрипоты. Разумеется, каждый из нас оставался при своем мнении. Мама обычно поддакивала отцу. Я понимал, что тяжело ей управляться с хозяйством, но и меня надо понять. И я выбрал тактику молчания. На вопросы не отвечал, ел, будто не слышал, будто о чем-то думал. Отец терялся, а мама набрасывалась на него:

— Совсем замордовал парнишку. Покоя ему не дает: как репей пристал...

— М-да, ребенок, — только и говорил отец. — На нем пахать да пахать...

И сейчас я ел и молчал. За день здорово проголодался.

— Ну вот что, — сказал отец, так и не услышав от меня ничего вразумительного насчет женитьбы. — Сегодня-то суббота! Слышишь, мать? Завтра с утра баньку...

Я люблю париться. Для борцов баня входит в обязательную программу подготовки к соревнованиям. Раз в неделю спортсмен обязан побывать в парилке — согнать лишний вес, расслабиться. Никто из нашей братии не может так долго и неистово париться, как я. Меня приучил к этому отец. Каждое лето, бывало, в первых числах июля мы с отцом готовим на зиму веники. Срезаем с берез ветки, которые без сережек, в основном старые — у них веточки тонкие, гибкие, с крепким листом. Нарубив несколько охапок, кладем на мешковину, начинаем вязать...

Отрываюсь, наконец, от стола, выхожу на крыльцо. Вечер. Тепло. Мычат коровы, похрюкивают поросята, пахнет дымом и навозом — деревня, одним словом. Дунул ветерок со стороны покосов — пахнуло разнотравьем. Иду не спеша на речку. Дом наш стоит на берегу — ведь мы построились недавно, в конце улицы. Подхожу к реке, раздеваюсь, с минуту сижу на гальке, а потом медленно вхожу в воду. Рассматриваю на дне красивые камешки, ныряю. Переплыв Кондому туда и обратно, вылезаю на берег, одеваюсь и иду спать.

Утром я беру ведро, и пока вода в речке чистая и прохладная, таскаю ее в баню. Вокруг бани лопухи растут, полынь, крапива, а у окна — яблонька стоит, свет застит — в баньке сумрачно, но отец не пересаживает деревце, любит его: а вдруг на новом месте оно не примется? Предбанник просторный, из смолистого горбыля. В нем лавка широкая. В самой баньке, по правую руку, каменка, дальше — полук. В углу — железная бочка с водой. Захожу. Пахнет березовым листом. Раздеваюсь — и кожа становится гусиной от легкого озноба. Лежу на полке, чтобы пропотеть, а потом начинаю стегать себя веником, стиснув зубы. И вот этого-то момента бояться ребята — всегда бегут из парилки... Уже нечем дышать, а я терплю. Тренировка — большое дело. Скатываюсь на пол, черпаю речной воды, пью, еще больше потею, а потом вскакиваю в бочку, окунаюсь, вылажу — и снова на полук. Лежу и вспоминаю, как парили Дениса Филатова.

Любил Денис вкусно поесть. Его мама, бывало, накладывала ему

полный чемодан продуктов на дорогу: колбасы и консервов, масла и яиц... Но Денис у нас всегда сгонял вес. Не мог же он выступать в моем весе, если мне проигрывал! Хочешь ехать — сгоняй четыре-пять килограммов в низшую весовую категорию.

— Денис, — говорит Егошин. — Перестань есть, соблюдай режим: ты же команду подведешь!

— Не беспокойтесь, ребята, — отвечает Денис, уплетая за обе щеки. — На каждой остановке бегаю — до самого светофора и обратно. Потеем здорово... В Саратове в баньку схожу...

И все-таки мы отобрали у него оставшуюся провизию, потому что Денис на наших глазах поправлялся — спит да ест. Егошин разрешил ему два последних дня пить по стакану воды в день и съедать котлетку без гарнира. Мы ходили за Денисом на станциях и отбирали у него все, что он покупал: воду, пирожки, жареную рыбу, вареную курицу. И все-таки у Дениса оказалось четыре килограмма лишнего веса. В Саратов-то приехали вечером. Утром — взвешивание, а потом жеребьевка. Разве он сможет согнать столько за несколько часов? Какой из него будет работник? Вес надо «гонять» постепенно, и Денису это известно. Эх, слабенький, безвольный человек!

Егошин раскричался. Дениса не допустят на соревнования, и команда сразу получит из-за него «баранку». А ведь мы «планировали» попасть в пятерку сильнейших! Денис только руками развел:

— Говорил же, что на самолете надо, а не на поезде. Едешь, едешь — и спать, и есть охота...

Ведем его в баню. Парим всей командой. В предбаннике взвешиваем. Егошин отмечает в блокноте: осталось три, два с половиной, два килограмма. Денис уже обессилел. И нам всем досталось: парили его через каждые десять минут.

Егошин говорит:

— Доведем, ребята, его до нормы. Утром поставим на весы — если не упадет — будет бороться. Хоть и проиграет, а «баранку» мы не получим — команда-то у нас будет в полном составе.

— Черт пузатый, — ругаем Дениса. — Нам же отдыхать надо, на ковер завтра, а из-за тебя...

Денис плачет, вырывается:

— Ребята, честно, не буду больше есть много. Не знаю, как и вышло. Отпустите... Не могу-у... больше...

— Оставим на утро пятьсот граммов, — сжалился Егошин. — За ночь, поди, «сгорит». Привяжем его к койке, чтобы воды не напился...

Идем снова в парилку. В висках у меня стучит, в ногах слабость. Ребята не могут, меняются, а я без передышки. Ну, Денис, не хнычь! Нахлестываю его веником. Двое держат, а третий, Игорь Валегов, подставил тазик с холодной водой и, черпая ладонью, освежает ему лицо. Денис дышит над тазиком, ему так полегче; он перестал ныть и даже покрикивает на меня:

— Давай, Колян, посильнее... В темпе, в темпе!..

Я уже не могу. Отбрасываю веник, выхожу из парилки, пошаты-

ваясь. Дениса ведут на весы, ставят. Егошин вдруг хватается за голову:

— Как было четыре лишку, так и есть. Что же это, а?

— Денис весь тазик воды выдул, — уныло говорит Игорь Валегов. — Пожалел его, подставил, чтобы «освежить» ему лицо, а он...

— Пошел с моих глаз, — рычит Егошин на Дениса. — Завтра же куплю билет на самолет — и лети к своей маме!..

...Слышу голос отца из предбанника:

— Николай, ты чего там? Гости к тебе... Этот, как его... Егошин. И с ним чернявый.

Выхожу в предбанник. Сажусь на скамейку. Никакой усталости, легко, блаженно. Отец бросает свое грязное белье под лавку.

— Мне уж Егошин сказал, — говорит он. — В Москву поедешь.

Отец пошел париться, а я медленно одеваюсь. Рубашка липнет к телу. Это как же — в Москву? Может, отец что-то путает. Что же произошло? С Егошиным приехал Гурбин — у нас только он чернявый. Скорее всего, его не отпускают в институте... С полотенцем на шее иду по дорожке в дом. На веранде вижу Егошина и Гурбина, оба улыбаются.

— Вовремя мы тебя захватили, — кивает Егошин на поллитровку, которую отец приготовил к столу после баньки. — Едешь, Коля, на спартакиаду «личником». Якову, команднику, поможешь... Сегодня побывали у твоего начальника шахты на квартире — только на рыбалку собрался. Объяснил ему, понял мужик и подписал тебе «освобождение». После соревнований отгуляешь свой отпуск.

Мама собирает на стол. Надо и ребят угостить — проголодались, поди. Она берет посуду, идет к погребу. Гурбин вызывается помочь. Он поднимает крышку погреба, лезет вниз, а мама сверху командует, из какой бочки что брать. Я сижу за столом, кружку за кружкой пью квас. У нас его целая бочка. Егошин делает мне знак: хватит пить, за весом следить надо. Мне и верится и нет, что выступать на спартакиаде буду. Как-то неожиданно получилось. Радости не ощущаю: просто морально не готов к поездке. Предлагаю ребятам попариться.

— Никита, может, в баньку... Парок отменный...

— Яша, какмотришь насчет парилки? — кричит Егошин.

— А как же поезд? Опоздаем... — слышится из погреба глухой Яшкин голос.

Егошин разводит руками. Показывает мне билеты до Москвы. Поезд отходит через два часа, а нам еще до вокзала надо добраться. Правда, транспорт есть. Он кивает в сторону плетня, и я вижу притулившийся газик. Значит, все-таки еду. И с этой минуты азарт предстоящих схваток полностью захватывает меня. Я нетерпеливо посматриваю на часы. Идет отец, из погреба вылез Яков, и все мы усаживаемся за стол.

После завтрака идем к газик. На сидении спит шофер, закрывшись газетой от солнца, сладко посапывает. Егошин трогает его за плечо, и шофер просыпается, берется за баранку. Мы усаживаемся в

машину. Мама машет с крыльца, а отец жмет каждому руку, желает удачи. Газик чихнул, дал задний ход, развернулся и помчался по улице, разгоняя кур, поднимая тучи пыли.

3. ВОЗВРАЩЕНИЕ

— Ага, приехал! Чего скоро? Наломали бока? — встречает меня отец. — По твоему лицу вижу, что шею намылили. Зачем было ехать?..

— Не получилось... Плохо готовился...

Отец стоит на крыльце и разочарованно смотрит на меня. Ему вроде и обидно, что я проиграл, хотя не раз говорил мне: «Бросал бы свою борьбу. Жениться на ней, что ли, собираешься? Нарвешься на кого-нибудь...» Но такого человека не находилось, чтобы отбил у меня охоту бороться. Мало того, мы с ребятами договорились поступить в техникум. Сегодня же, думаю, отошлю документы. Отцу пока ни слова. Вот уж где вплотную займусь спортом. За четыре года можно не только чемпионом страны стать, но и мира.

Рассказал отцу, как было дело. Он крикнул:

— Мать, Колька-то подкачал. Мы тут сеем и пашем, кормим его, дармоеда, а он, вахлак, чего «выкручивает». И там, в бригаде, кто-то за него вкалывает, а он разъезжает по Союзу, зря деньги переводит. И чего ты, Колька, скажешь на шахте? Засмеют ведь тебя. Ладно, завтра на покос.

— Не ругайся, отец. Вот уеду от вас... — говорю я, стаскивая с себя костюм, рубашку, брюки, беру тазик и наливаю воды из кадки. Отец смотрит на меня непонимающими глазами, а мама тревожно и выжидающе. — В техникум поеду... на четыре года. По специальности буду учиться — на отделении подземной разработки...

— Почему на дневное отделение, а не на вечернее? — спрашивает отец. — Ага, понимаю, из-за борьбы... Помешался ты на ней. А о нас, стариках, подумал?

— Так уж и старики, — говорю я, моясь. — Еще даже лучше: на каникулы домой буду приезжать на все лето. Техникум закончу, сюда же, на свою шахту попрошусь.

После этих слов мои родители повеселели. Отец поскреб в затылке, пошевелил губами, сказал задумчиво:

— Так, так... Стипешка, говорят, маленькая в техникуме-то. Это что же, надо высылать тебе деньги, чтобы там с тебя штаны не свалились... Такому-то мужику! До каких же пор?

— Можешь, отец, не беспокоиться. Там будут и одевать, и кормить, и стипешка есть.

— Я и не беспокоюсь. С чего ты взял? Просто говорю, что мог бы и учиться, и работать, так многие поступают. Ну, как хочешь. Одним словом, учись, ума набирайся. — Отец повернулся к маме: — Давай, мать, соберай на стол.

Утром идем на покос. По реке туман стелется. Роса моет сапоги. Отец шагает впереди, а я за ним. Несем на плечах литовки. Берег не-

ровный. В кочках, рытвинах. С непривычки спотыкаюсь, хватаюсь за ветки тальника, и сверху за шиворот дружно сыпятся капли. Отец по-смеивается, останавливается, снимает с плеча литовку, обводит болотистое место рукой, говорит:

— Вот по этим кочкам и косить будем...

Смотрит на мое недоумевающее лицо, поясняет:

— Тут мы литовочками-то, знаешь, сколько понакосим — уйму... И то сказать: технику сюда не запрешь — всю как ни на есть погубишь, а зачем же такой богатой травке пропадать?

Отец показывает, как держать литовку, ставит рядом, делает взмах, еще один и пошел, играючи, лавируя между кочками. Я примерился, откуда начать, и сделал закос. Литовка легко прошла сквозь траву, подрезав ее под корень. Хорошо косилось по росе. Но вот солнце поднялось повыше, стало жарко. Комары звенят, мухи-слепни кусают нещадно. Не работа — каторга. Хоть бы ветер подул да разогнал бы тучи мух, которые носятся над нами. Но ветра нет, солнце палит. Хочется пить. Подходит отец.

— Идем, Николай, обедать... Мать там блинов напекла. Со сметаной — здорово! В столовке сроду таких не поешь, айда! Ты, гляжу, неважнецко косишь. Устал, что ль?

— Какое там... В шахте или на ковре — вот где устаешь, а покос твой — забава... Слепни только заедают.

— Вижу, что забава — вон рубашка к спине прилипла, язык на плечо высунул. Ладно, идем. Завтра с утра пораньше косить будем...

Возвращаемся домой. У меня ноет рука в локте. Натрудил... Дает знать старая травма. Отцу, конечно, ничего не говорю. Начнет опять: бросай да бросай борьбу. Потихоньку массирую правую руку, недобрый словом поминаю Саратов, где выступал на первенство России. Мне там не повезло с жеребьевкой. В первой же паре выпало бороться с чемпионом страны Сташкевичем. Отработал я с ним неплохо: выиграл по очкам на последней минуте. Хожу веселый — дальше противники пойдут полегче, и у меня есть шанс пробиться в финал. Ребята по команде поздравляют:

— Молодец, Коля, с чемпионом так отборолся, а с остальными тебе и делать нечего...

А на ковре — тяжелейшие схватки. Одному выбили руку в локте, другому — в плече, третьему ключицу повредили. Бывает, что соревнования проходят без единой травмы, а бывает, как начнутся... Только позже, когда я стал перебирать в памяти детали саратовской эпопеи, то понял, почему многие из нас травмировались. Зал, где проходили соревнования, был маленьким и тесным, а коридор узким. Разминаться было совершенно негде. Борцы мешали друг другу, выходили на ковер без разминки...

Стою в тесном коридоре саратовского спортзала, настраиваюсь на схватку с Курохтиным, борцом из Челябинска. Вдруг открывается дверь, и я вижу маленькую комнату. В ней лежат травмированные борцы. Все перебинтованные, морщатся от боли. Одного за другим выносят на носилках. Развозят кого в гостиницу, кого в больницу. Не

знаю, почему, но мне стало смешно. Стою и хохочу, как дурак. Тут на ковер вызвали. Начал схватку вяло. Перед глазами травмированные. Курохтин проводит прием. Лечу, а сам вижу, что мат, который кладут для подстраховки к коврику, отошел. Мелькнула мысль, что сейчас упаду рукой в щель. Ну и организаторы, чтоб вам на том свете ни дна, ни покрышки: не могли подбить ковер...

Слышу хруст. Острая боль. В глазах темно. И несут меня в ту самую комнату, кладут на кушетку. Врач, пожилая женщина, быстро вправляет руку, поливает локоть эфиром, бинтует. «Жаль, очень жаль. Столько труда вложено — и все насмарку, — думаю и тут же ругаю себя: зачем над травмированными смеялся. И сколько я уже получил этих травм: левую руку в плече выбили, на правом колене мениск вырезали, и сколько еще получу — одному богу известно».

4. ЧИТАЯ ПОЖЕЛТЕВШИЕ СТРАНИЧКИ...

Никогда никому не рассказывал, что произошло в Москве на спартакиаде. И кто бы у меня ни спрашивал — отец, друзья, — отделялся общими фразами. Не помню, год или два спустя, я все записал в свой дневник. И не только московские поединки, но и те, которые провел против Якова Гурбина дома.

И вот сейчас читаю пожелтевшие странички, и передо мной возникает давно забытое. Выцветшие чернильные строчки говорят на языке моей молодости, и я ощущаю людей, с которыми тогда встречался, так, будто они со мной в комнате. Писал в дневник разные подробности. И как только хватало терпения, времени! И что бы я сейчас делал, если бы не было дневника?

Москва, 17 августа 1956 г.

В первой схватке мне бороться с Комлевым, чемпионом олимпиады. Какая досада! В нашем весе сорок человек, а вот самый сильный достался мне. Это значит, что в первый же день «схвачу» четыре штрафных очка. Надо реально смотреть на вещи: все-таки противник — заслуженный мастер спорта. Хотя бы выпало бороться с чемпионом во второй или в третьей паре! К этому времени я бы уже вошел в норму, прошел бы два круга. Однако бой я ему дам — терять мне нечего, тем более, что я «личник».

Гурбин дважды будет бороться с перворазрядниками и, наконец, должен победить. Егошин сказал: «Душа из тебя, Николай, винтом, но не проиграй чемпиону на «туше». Пусть он из тебя веревки вьет, пусть согнет в бараний рог, но чтобы ты на лопатки не ложился. Повесишь на чемпиона штрафное очко. А если поднатужишься, сведешь схватку вничью — повесишь два штрафных, и я тебя расцелую. И вообще в долгу не останусь. Ведь там еще кто-нибудь поддаст ему. Утром нам сказали, что боремся по олимпийской системе: набрал пять штраф-

ных — выбыл. Понял? Будь же злее, Коля. Представь, что этот чемпион, Комлев, твой враг... Помоги Якову. Ему повезло с жеребьевкой — попались два слабака: он должен пройти...»

Вот что значит «личник». Я буду прокладывать путь Якову. Если же и в других весовых категориях ребята займут не ниже пятого места, то команда выйдет на третье. Егошин поставил перед нами задачу любой ценой добыть «бронзу».

Внешне я был спокоен, но внутри у меня кипело. Мне стало стыдно за ту роль, которую я должен сыграть. Нет, зря поехал. Поливал бы сейчас огород, стоговал сено... Стыдно потому, что Егошин еще сказал: в случае борьбы между мной и Яковым схватка должна проходить по спортивному принципу — кто кого! Он при этом многозначительно посмотрел на меня, но я отлично понимал, что должен проиграть «команднику», скажем, на пятой или шестой минуте. Это даст возможность Якову «чистым» попасть в следующий круг, а там...

— На ковер вызываются борцы легкого веса — Николай Поселенов и Андрей Комлев, — прозвучало из репродуктора.

Как только сошелся с противником, волнение мое улетучилось. Увидев близко лицо Комлева, его приплюснутый нос, широкие толстые губы, вспомнил Кузнецк. Это же бывший сибиряк, иркутянин. Приезжал к нам на зону несколько лет назад. Выступил средненько, впечатления ни на кого не произвел. Однако вон как взлетел — заслуженный мастер. В Москве теперь живет... Конечно, рыба ищет где глубже, человек — где лучше. Ну, держись, «рыба»...

Провел ложный нырок под руку, надеясь, что Комлев интуитивно отклонится в сторону, потеряет равновесие, и тогда мощным ударом корпуса собью его в партер. Этот прием провожу очень редко, всегда удачно. Но Комлев разгадал мой замысел, в ответ сделал «посадку». Чтобы не попасть в партер, в акробатическом прыжке ушел за ковер.

Больше острых моментов не было. Комлева такая борьба устраивала. По-видимому, он ждал партер. Усиливаю темп. Зрители, борцы — одобрительно хлопают в ладоши. Комлев не принимает темпа, вызывая недовольство судей, но ни один из них не поднимает желтую карточку.

Свисток. Судьи показывают ничью. Значит, вторая половина борьбы будет проходить по жребию. Судья бросает монету. Первым сверху борется Комлев. Он сразу пытается поймать меня на «обратный пояс», но вытянуть на грудь не может. Я защищаюсь отчаянно. Время идет, Комлев нервничает. В стойке ему, чемпиону, ничего не сделать, а чистая победа так нужна... Вот он хочет поднять меня с помощью колена. Ай-яй, не стыдно... заслуженный мастер спорта... Судья, не останавливая схватку, делает Комлеву замечание, а зал разражается ревом.

Комлев с силой опускает меня на колено. На миг боль оглушила, перехватило дыхание. Неподвижно лежу на боку, хватая ртом воздух. Комлев стоит в углу, нервно переминается с ноги на ногу: думает, что я не могу больше продолжать схватку и он получит победу. Нет, врешь,

чемпион. Сейчас вот, через минуту, поднимусь, и ничегошеньки ты со мной не сделаешь. Будет ничья! Во, как здорово! Все будут говорить, что я сделал ничью с самим Комлевым! Меня оставят на сбор для подготовки к международным встречам. Нет, не оставят... Послезавтра должен «проиграть» Якову Гурбину, «команднику». Как жестоко судьба посмеялась надо мной. И это все Никиты Егошина проделки. Накось, Егошин, выкуси...

Продолжаю лежать на ковре, хотя боль утихла, и я бы мог почтено довести схватку до конца. Арбитр наклоняется надо мной, спрашивает:

— Поселенов, продолжать борьбу можете?

Я отрицательно качаю головой.

Москва, 20 августа 1956 г.

Финал. Цирк переполнен. Жду минуту, когда на ковер выйдут Гурбин и Комлев. Не оправдал надежд Егошина. Несколько дней лежал в гостинице и мечтал о том, чтобы Яков «завалился». Если он хорошо выступит, то мне несколько лет будет закрыт доступ в сборную области. Но Яков Гурбин победил всех своих противников. Узнав об этом, я всю ночь не сомкнул глаз. Так мне, дураку, и надо. Ругал себя за ошибку, которую совершил. Ведь мог отбороться с Комлевым вничью, а я отказался.

Допустим, «упал» бы под Гурбина, но второе-то и третье место стало бы моим. На сборе — другое дело. Я бы там из Яшки веревки вил; он бы там у меня вместо тренировочного чучела был. Теперь близок локоть, да не укусишь.

— Ко-м-лев, — скандируют зрители.

Чемпион олимпиады стоит на углу ковра — угрюмый и вялый, будто проснулся, но я-то знаю, какая взрывная сила таится в нем. Вышел Яков. Строен, смугл, играет мускулами, его красивое, с тонкими чертами лицо светится улыбкой.

...Яков проводит несколько бросков, но за ковер, поэтому приемы не засчитываются. Неужели будет партер? Как мне хочется, чтобы Комлев вытащил Гурбина на «обратный»... Судья поднял молоточек, смотрит на секундомер. Сейчас прозвучит гонг, и будет брошен жребий! Но вдруг Комлев выхватывает Гурбина на грудь и бросает через себя. Крутой «мост» спасает Якова от поражения. Грудь выгнута колесом, лбом достает чуть ли не до собственных пяток, руки согнуты в локтях и поддерживают спину.

Гурбин уходит из опасного положения. Комлев получает три балла. Ему предоставляется право выбирать, как бороться дальше — в стойке или в партере. Схватка продолжается в стойке. Комлев наступает. Он борется, будто и не было шести минут изнурительной схватки. Гурбин, пошатываясь, уходит. Он может и не выдержать. Слишком много отдано сил, когда бессмысленно бросал за ковер. Комлева-то на испуг не возьмешь.

Якова не узнать. Движения вялы, спина и руки блестят от пота; он то и дело уходит за ковер, и судья объявляет ему предупреждение.

Неужели снимут? Нет, я с Комлевым боролся лучше... Вот они взялись в обхват. В обнимку идут к краю ковра. У кого нервы крепче? Рискуй, Яшка. Проведи бросок — пан или пропал... У Гурбина одна нога за ковром. Как только окажется за ковром вторая, арбитр даст свисток.

Комлев распускает хват, не спеша идет на середину. Ему-то рисковать нет необходимости — схватка им выиграна по баллам. Судья свистка не дал — зачем? Осталось пятнадцать секунд. Обычно, когда истекает время, борцы без сигнала начинают с середины.

Гурбин догоняет Комлева, обхватывает его сзади и бросает через себя. Чемпион даже не «сместил»: он не ожидал такого вероломства. Что же — сам виноват, не поворачивайся спиной, рыцарь... Противника надо уважать. В цирке — тишина. Судьи совещаются. Кое-где слышались возгласы: «Снять Гурбина!» Вдруг прорвало. Шум и крики слились. Судьи, наконец, объявили победу Гурбину.

Вот так Яков! Я вспомнил, что Карев так же уложил Гванцеладзе на последней минуте и стал чемпионом страны. Грузин кинулся на него с кулаками, за что был дисквалифицирован. У нас этот случай, произошедший несколько лет назад, обсуждался очень долго. Многие, в том числе и Гурбин, специально тренировали этот прием, получивший название «наказать фраера». Потом Карев, этот мастер на разные выдумки, вторично положил Гванцеладзе и снова стал чемпионом страны. Только на этот раз Карев повернулся к нему спиной, а грузин кинулся на него сзади, но был пойман за руку и брошен на лопатки. И этот случай у нас долго обсуждался, и отрабатывался контрприем, названный «наказать хама»... Сейчас Яков поступил по-хамски, но наказан не был. Он стоял на пьедестале, улыбался, раскланивался, приветствуя зрителей, которые молчаливо созерцали его, и золотая медаль на алой ленте болталась у него на шее. А у меня медали не было.. Не скрываю, я пожалел, что по собственной инициативе «вышел» из игры.

Кузнецк, 15 октября 1957 г.

В раздевалку зашел Егошин. Покручивая свисток на длинном шнурке, беспечно насвистывая веселый мотивчик, он стал хлопать по спинам борцов и показывать на часы: давайте, мол, быстрее. Увидел меня, сказал с притворным удивлением:

— Наконец-то пришел. Полтора месяца не появлялся. И это перед городскими соревнованиями. «Мастеришься», Коля. Для тебя Гурбин опять что-то готовит — не успеешь глазом моргнуть, как на спине окажешься.

Егошин огляделся и, обращаясь к борцам, громко сказал:

— Нашего Якова в Караганду распределили. Мы его воспитали, в чемпионы вывели, а тут получай, Караганда, готового чемпиона. Пришлось похлопотать. Куда только ни ходил, скажу, вам, ребята, что не простое это дело. В общем, оставили Яшу здесь. На местной шахте будет работать. Имейте в виду на будущее: со мной, Егошиным, считаются...

Я повернулся к нему:

— Ты подумал о том, что двух освободить от работы будет почти невозможно? Выходит, что он будет ездить, а я только выступать на городских соревнованиях? — запальчиво говорил я. — Понимаю: ему нужен партнер да и в Караганду не очень-то хочется ехать. Но при чем здесь я? Мне надоело быть тренировочным чучелом.

— Если других шахт в городе нет, — парирует Егошин. — Да он и сам захотел к тебе. Для меня, тренера, все равны. Станешь чемпионом города — поедешь на зону, а Яков в запасе посидит. Пока же... Якову надо отстоять свой титул, а нам удержаться в тройке сильнейших команд России.

Егошин быстро пошел из раздевалки. За ним потянулись борцы. Я примерил трико, но оно оказалось мало. Выходит, у меня появился лишний вес, который надо быстро согнать. Пошарив в чемоданчике, не нашел в нем борцовок. Вспомнил, что в спешке забыл их в комнате общежития. Придется идти к Фроловичу...

В трико, босой, вышел в коридор. Здесь, как всегда, толпились зеваки. Огромный гимнастический зал сверкал огнями. Я прошлепал в конец коридора, где была кладовая. В ней жил старенький завхоз Фролович. У него никогда ничего не выпросишь. Постепенно дед приучил спортсменов носить свою форму, поэтому к нему обращались редко, и жил он в своей коморке, среди тряпок и устоявшегося прелого запаха, тихо и спокойно. Спал Фролович на раскладушке. Он был высокий, худой, бородка клинышком, откуда пришел в спортшколу — одному богу известно... И все-таки спортсмены любили его. Когда Фролович умер, сотни людей шли за гробом.

Захожу к Фроловичу, и тот, взглянув на мои босые ноги, понял, кивнул в угол на кучу тряпья, среди которого я отыскал себе ботинки, сносные, но разных размеров, притопнул, выбив пыль, и заспешил в зал борьбы.

Здесь уже во всю шла тренировка. Я побегал вокруг ковра, затем взял чучело и стал бросать его через спину и грудь. Егошин давал советы, показывал, как лучше провести тот или иной прием. Он ходил с секундомером, и его зычное: «Поменялись местами» эхом отдавалось под сводами высокого зала.

Пот катил с меня ручьями. Вот что значит долго не тренироваться, а еще надо отработать схватку. Егошин даст мне высокую нагрузку — так он всегда поступает с теми, кто пропускает тренировки. Вот он пригласил меня и перворазрядника из юношеской команды на ковер. Так, не успев обсохнуть, я и вышел. С первых же минут мне удались два нырка с переводом противника в партер. Егошин остановил схватку, показал ларню защиту. Мы продолжаем бороться. Вновь делаю нырок, противник уклоняется, как показал ему тренер, а я стремительно провожу «ломок», и парень лежит на лопатках.

— Что за прием, — кричит мне Егошин. — Бросать через спину разучился?

— Так легче, — отвечаю я, тяжело дыша. — Он же низко стоит. Зачем же тащить его на спину?

— Опытного борца не обманешь, — спокойно говорит Егошин. — Забудь «ломок». Ты «бедровик»... Возьми чучело и бросай по пятьдесят раз в обе стороны. Полезно... И водичку выгонишь...

Я отработал свое на ковре, и Егошин отправил меня в душевую. И уже одеваясь, мысленно воспроизвел комбинацию с «ломком». Этот прием не такой эффектный, как говорят, не работает на публику, но более надежный, чем чистый бросок «через спину». Чтобы его провести, надо перед схваткой хорошо размяться — до сильного пота, иметь отличное дыхание. Завтра же начну бегать...

Заглядываю к Фроловичу, отдаю ему ботинки. Он скрупулезно исследует их, находит маленькую дырку, возвращает мне.

— Порвал ботинок — почини...

— Как это порвал? — возмутился я. — Здесь была дырка...

— Дырки не было... — Фролович укоризненно качает головой: — Ай-яй, молодой человек. На углу сапожная... Моментальный ремонт... Тридцать копеек. — Он сует мне в руки ботинок. — Не было дырки, не было...

Ругая Фроловича, который за счет спортсменов ухитряется чинить инвентарь, бегу в сапожную. Нет, надо носить форму с собой. В следующий раз он пошлет меня в швейную мастерскую. А времени-то в обрез, сегодня в ночную смену, поспать бы немножко надо.

Кузнецк, 20 октября 1958 г.

Во Дворце начались соревнования. Желающих попасть на них немало. В коридоре в три ряда стояли зрители, да на балконе сидели десятка два счастливых — больше зал не вмещал.

Схватки начались с утра. В каждой весовой категории было по пять-шесть человек, кроме полулёгкого веса, в котором боролись двое — я и Гурбин. Здесь же были вывешены списки участников, и я несколько раз подходил к ним, считал, сколько пар осталось до моего выхода на ковер. Что я чувствовал перед встречей с Яковом? Был уверен в победе, потому что находился в отличной форме, имел в «загашнике» новый прием. Да и сам-то Гурбин, как стал работать на шахте, был уже не тот. Его назначили горным мастером, и он с утра до позднего вечера пропадал на участке. Мы виделись с ним мельком. Как-то он сказал, что скоро женится и тогда со спортом окончательно «завяжет».

Яков Гурбин появился после обеда. Бледный, на ходу галантно раскланивающийся с многочисленными знакомыми, он небрежно кивнул мне, подошел к спискам. Его окружили борцы. Каждый хотел пожать ему руку, что-нибудь сказать. Все с интересом рассматривали медаль — желтоватый кружочек, тускло поблескивающий на лацкане элегантного в полоску пиджака. И сам он был строен, чисто выбрит, в белоснежной рубашке с галстуком-бабочкой.

Я слегка волновался. Без этого и не бывает. Хожу по небольшому пятачку, держу руки на бедрах, время от времени делаю вращательные движения корпусом. Думаю о том, что, выиграв у Якова, надолго займу его место в сборной, а если проиграю, то придется ждать еще два-

три года. За это время я могу окончательно потерять форму, ибо работать, учиться и заниматься спортом — дело безнадежное.

Бегаю на месте, то убыстряя, то снижая темп, приседаю. Минут через десять чувствую, как покрываюсь потом. Тут вызвали на ковер. В зале стоит шум. Судья даже не представляет нас, поскольку микрофона нет, а перекричать болельщиков просто невозможно. Да и кто в городе не знает меня и Якова? Но шум сразу прекратился, как только мы сошлись на середине.

Мы стоим и смотрим друг другу в глаза. Яркий свет освещает нас. Со стороны можно подумать, что мы встретились случайно и не можем разойтись. Вот Гурбин кинулся вправо, и я туда же. Стоит мертвая тишина. Судьи потихоньку перешептываются. И вдруг с галерки раздается истошный крик: «Коля, жми!» Взрыв хохота. Все смотрят на балкон, а мы уже схватились намертво. Я ничего не вижу, кроме растянутых в улыбке тонких губ Якова: это у него от огромного нервного и физического напряжения. Я-то думал, что он смеется надо мной. На первой же минуте иду в атаку. Гурбин даже растерялся, но быстро пришел в себя, поймал меня на передний пояс и бросил через грудь. Бросок был сделан с ходу, без подготовки, и я сумел уйти в партер.

Есть, думаю, у него еще порох. Надо быть внимательным. В конце четвертой минуты провожу «нырок», Яков уклоняется вправо и тут же летит на спину от коварного «ломка». Огромный опыт, «железный мост» спасают его от поражения. Отыгрываю три очка.

Первая половина схватки закончилась вничью. Борьба продолжается в стойке. Наступаю. В зале творится что-то невероятное: шум, крики, свист. Особенно неистовствует галерка. Я решил «загонять» Гурбина, тем более накануне видел, как он пил в шахтовом буфете пиво. Ходим по краю ковра. Вот у него уже не хватает сил «вязать» мне руки, и он отступает. В конце схватки вынуждаю его взяться в «крест». Ему ничего больше не остается: если уйдет за ковер, то получит предупреждение, а так хоть есть шанс...

Мы уперлись ногами и стали с силой сжимать друг друга. Кто вперед вытянет на грудь, за тем и бросок, и тут уж ничто не спасет. Этот захват многие не любят, называют его приемом «смертников»: выигрывает тот, у кого нервы и мышцы крепче... Я чувствую, что Яков сдает, и понял, что победил!.. Его не спас даже знаменитый «железный мост». Он лежал на спине, а я стоял над ним, и слезы радости текли по моим щекам, смешиваясь с соленым потом.

...Я с силой захлопываю дневник. Швыряю его на стол. Когда теперь он мне понадобится? Наверное, никогда... Да, есть что вспомнить! После той памятной встречи с Гурбиным, я уже никого не боялся. Несколько лет не знал горечи поражений, постепенно приближаясь к заветной вершине, и когда уже обо мне говорили как о кандидате в сборную страны, мой победный бег был остановлен Матвеем Каревым.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1. ПОСТЫДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Когда я демобилизовался из армии, то Матвей Карев, чемпион мира, Яков Гурбин, чемпион республики, Никита Егошин закончили свои выступления. Последним из них сошел с ковра Егошин, и я в этом сыграл немалую роль.

Вернувшись из армии, поступил я на третий курс техникума, с которого меня и призывали. Тренировался мало. Сидел за учебниками. За три года многое подзабыл. Весной выступил в городском чемпионате. На высокий результат не рассчитывал: помаленьку начинать надо было. Неожиданно занял первое место. Тренер Игнатюк включил меня в сборную для участия в областных соревнованиях. Тут уж хочешь, нет, а бороться надо. Собрались мы в областном центре: старожилы, борцы среднего поколения и молодые. Среди «старичков» увидел Егошина, сияющего, в шерстяном костюме. Мы обнялись. Все-таки не виделись четыре года. Помню наш разговор.

— Николай, почему не учишься? — спросил он. — У меня в секции одни студенты, и только ты среди них — как белая ворона. Статистику мне путаешь...

Это было в спортзале, когда все борцы пошли в раздевалку, а мы задержались — я разучивал защиту от «переднего пояса». Егошин «ловил» меня на захват, а я резко уходил ему под руку, за спину. После того, как «нырок» удался, мы сели на ковер, и Егошин продолжил разговор.

— Почему не идешь в техникум? У нас в городе их немало. Я и сам подумываю. Но мне-то нужно в физкультурный... Связал свою жизнь с борьбой, люблю тренерскую работу. Учить ребят приемам — вот мое призвание. Давай, двигай, Коля, в металлургический. А то у меня в секции одни горняки.

— Не подходит это мне, — робко подал я голос. — Поеду в Ленинград, в физкультурный... Есть такой. В системе профтехобразования. И кормят, и одевают, и стипендия есть. Хочу тоже тренировать. Не сразу, конечно, а лет через пяток после техникума, когда в школе поработаю, опыта наберусь. Мне ведь, Никита, без борьбы нельзя. Здоровье, сам знаешь... всю жизнь решил связать со спортом.

— Понимаю, — кивает Егошин. — Но для тренерской работы нужно призвание, талант, если хочешь. Да что ты... У нас в области полтора десятка тренеров, а толку. Все более или менее хорошие борцы у меня выросли. Вот что скажу: валяй в индустриальный. Хотя и жалко отпускать тебя, но не в другую же область...

И я пошел в индустриальный на отделение подземной разработки.

И все-таки у нас с Егошиным не было теплых отношений. Этот разговор «по душам» был единственным и последним. Мне иногда казалось, что Никита меня недолюбливает. Затрудняюсь даже сказать — почему? Возможно, он уже тогда считал меня потенциальным против-

ником? Возможно, тут была замешана женщина? Он был нашим тренером, но, как говорят, играющим, ему было тогда чуть больше двадцати лет. Правда, раньше Егошин выступал на весовую категорию выше моей, но вот сейчас, когда прошло несколько лет, я потяжелел.

Егошин был настроен оптимистически, и я понял, что он приехал за первым местом. Это давало ему право выступать на зоне, а там, если повезет, попасть в финал первенства России. Он надеялся добыть несколько побед, которых ему не хватало для выполнения нормы мастера спорта: ему необходимо закрепиться тренером в спортшколе. Он имел за душой семь классов. С детства увлекся борьбой, бросил школу, отдал любимому делу много лет, а когда оглянулся, понял, что ничего не достиг, менять же профессию уже поздно. В спортшколу стали приходить тренеры с дипломами. Он знал, что скоро ему придется уступить свое место.

Егошин начал схватки неплохо. Двух противников положил на лопатки, а у третьего выиграл по баллам. Только его победа надо мной обеспечивала ему заветную путевку на зону. Вечером, достав дневник, я стал просматривать записи. Вдруг в дверь номера постучали. «Войдите», — сказал я. Дверь отворилась, и на пороге появился Матвей Карев. Он быстро прошел в комнату, сел на кровать.

— Коля, дорогой, поздравляю тебя с первым местом на Вооруженных. Читал в «Советском спорте»... Состав был сильным, и это вдвойне почетно. Теперь тебе надо закрепить успех. Но в этом году ты не в форме. — Матвей замолчал, а я терялся в догадках: что привело его ко мне?

— Все мы рано или поздно уходим из большого спорта, — вновь начал Матвей. — По-разному сложились наши судьбы. У каждого из нас есть профессия, своя дорога. Ты заканчиваешь техникум, на преддипломную на днях поедешь, а я вот горный инженер. Давай, Коля, ко мне, на нашу родную «Глубокую». Я там начальником участка. Эх, Коля, годочки-то ушли. Поездили мы с тобой, а? Я — почти весь «шарик», а ты — весь Союз. И это благодаря кому? Скажи, Коля, кому ты обязан... Нет, нет, не мне. Я-то что? Ну, привел тебя в секцию, поддерживал: вместе росли, учились. Егосину ты обязан — это уж не отнимешь. Никита, этот последний из могикан, все отдал для таких, как мы с тобой. Если не ошибаюсь, тебе было четырнадцать, когда пришел в спортшколу?

Смотрю на него и ничего не могу понять. Что за длинное вступление, и вечно этот Карев что-нибудь придумает.

— Егосину нужна «чистая» победа, — сказал Матвей, будто поняв мой взгляд. — Для него это вопрос жизни. Ему надо попасть на зону, в финал России... Тебя второе место устроит. Все равно ты в плохой форме и на крупных соревнованиях не будешь иметь успеха. В следующем году, тебе обещаю, возьму в сборную. Игнатюк уходит, а я утвержден тренером. Эх, Коля, для простых смертных спорт — это и красота, и гармония, а для нас, немногих «негров» — это каторга, пот и кровь. Говорят, что места под солнцем хватит всем — плюнь тому в глаза. За это место драться надо, и тут все методы хороши. Сегодня ты дал по-

жить одному, скажем, Егошину, завтра — дадут тебе. Я вот семь лет борцовскую госстипендию получал, как член сборной страны. Машину купил, а потом и дачу построил... Положись на меня... Божья искра-то у тебя есть...

Матвей Карев, не ожидая моего ответа, поднялся, быстро ушел. Он был уверен, что я не посмею его послушаться. В противном случае, дорога за пределы области для меня будет закрыта. Но сознательно проиграть Егошину было выше моих сил. Пусть он решает свою судьбу в честном поединке. Это мне надо просить бывшего тренера, чтобы не расправился со мной жестоким образом.

И вдруг мелькнула мысль, что Матвей меня разыграл. Пойдет сейчас к Егошину, расскажет ему, что я возомнил из себя «корифея». Ведь все считают, что шутки я не понимаю, все принимаю за чистую монету, поэтому часто попадаю в смешные истории. Закоперщиком всегда бывает Матвей. И вообще в то время этим увлекались. Не раз ко мне ночью в номер стучали: «Скорую помощь вызывали?» Или: «Открывайте, администрация... и милиция. У вас в номере женщина...» Я поднимаюсь, открываю. И в самом деле: стоят администратор, милиционер... Утром все смеются до слез.

Вспоминаю, как мы с Матвеем встретились в раздевалке ленинградского Зимнего стадиона. Я служил в армии, поэтому приехал на первенство России «личником», как чемпион Северной зоны. Матвей похлопал меня по плечу:

— О тебе хорошо отзывается тренер Кандинский. Можешь попасть в сборную страны...

— Стараюсь... — отвечаю я весело. — Через год — демобилизуюсь...

— Ждем! Ну-ка, Коля, дай руки, посмотрю, в хорошей ли ты форме? — Матвей сжимает мои кисти, а я легко разрываю захват. — Молодец!

Карев уходит. Начинаю разминку — скоро на ковер. Смотрю на часы, но их на руке нет. Осматриваю пол, заглядываю под лавку. Часы-то золотые, приз за первое место на военном округе. Не поскупился командующий... Ничего не поделаешь, горевать некогда, продолжаю разминку. Вдруг в раздевалку вваливается группа гогочущих спортсменов во главе с Матвеем.

— Бери свои золотые, — кричит он и вытягивает из кармана за цепочку часы.

Десяток рук тянутся к часам. Тут и ярославцы, орловцы, костромичи, пермяки, и наши, сибиряки. Все удивляются: и ловок этот Карев — на глазах часы снимет — не услышишь. И здорово же у него получается!

— Пусть у тебя побудут — на ковер вызывают, а мне их девать некуда, я же один приехал, «личником», — говорю ему, а сам уже иду в зал.

Схватку провел неплохо. Раза три бросил противника, получил десять баллов и последнюю минуту «вопынил»: зачем мне на рожон-то лезть? Вдруг около судьи появляется Карев, делает мне знаки руками, а потом вытягивает из-за пазухи длинную цепочку часов. Это он

на снимал, пока я боролся. Мне стало смешно. Арбитр с удивлением смотрит на меня: ему наверное, не приходилось еще видеть смеющегося борца на ковре. Мой противник подхватывает меня за руку и бросает через спину. Стою на «мосту» и ощущаю спиной холод покрышки. Раздается спасительный свисток. Я выиграл по очкам лишь с незначительным преимуществом.

Подбегаю в раздевалке к Матвею:

— Ты чего делаешь-то, чего? Зачем под руку лезешь. Чуть не проиграл...

— Это я нарочно, — отвечает Матвей искренне. — Кто же так борется? Бросаешь, отпускаешь... Ты его еще мог на третьей минуте «задавить»! Десяток баллов набрал, а что толку? Штрафное очко-то он на тебя «навесил»... Иди, Коля, поешь сырого мяса — злее будешь!

Стою под теплым душем и размышляю над словами Карева. Может, и правда растерял я бойцовские качества? Каким-то равнодушным стал, мягкотелым. Неужели я стал походить на футболиста, который не играет на поле, а «отрабатывает» свое время? Тогда зачем я сюда приехал? Нет, что-то здесь не так. Карев, мне кажется, не прав. Я отборолся пятнадцать минут, открыл дыхание, вошел в форму. Выиграл бы за полторы минуты, и что бы это мне дало? А во второй встрече противник посильнее, был выходным, следовательно, не готов ни физически, ни психологически к схватке со мной...

Остальные встречи я провел зло, по-спортивному. Выиграл у всех «чисто», попал в финал, где с меня сняли штрафное очко. В финале, положив двух борцов на лопатки, я занял первое место. Теперь и у меня была «малая» золотая медаль, как у Якова Гурбина. «Эх, Яша, где ты сейчас? Наверное, день и ночь из шахты не вылазишь? — думал я. — Посмотрел бы, как медаль заработал: и «личника» у меня не было, и сзади не напал...»

2. ЧТО СКАЖЕТ «ПАТРИАРХ»

Приходит Игнатюк, садится на свою кровать. Крупное лицо, мощная грудь, большой живот. Василий Васильевич тяжело дышит.

— Все, Коля, баста. Последний раз привез команду. Ухожу окончательно. Тяжело уж свой вес таскать — сто тридцать. И годы, Коля, годы...

Игнатюк — «наш патриарх». До него в области борьбы вообще не было. Появился Василий Васильевич, взял секцию, провел городские соревнования, через пару лет — областные, и началось. В течение нескольких лет был бессменным тренером города Рудничный, возглавлял сборную области. Это он вывел Карева в чемпионы страны. Потом о нем стали говорить, что, мол, Игнатюк уже стар, не хватает ему фантазии, творческих находок, тактических изобретений. И ему облспортсоюз перестал поручать готовить сборную. Мне кажется, что причины недооценки тренерских возможностей Игнатюка, как ни странно, в его личных качествах. Сделав хорошее дело, он не был способен обобщить

его в статьях, выступить на совещании. Он до удивления был скромный, даже застенчивый, и совершенно не мог дать отпор недоброжелателям.

Василий Васильевич отошел от спорта — работал страховым агентом до самой пенсии. Иногда ему поручали готовить городскую команду на областные соревнования, и он никогда не отказывался.

Много легенд слышал я о Василии Васильевиче, герое послевоенной олимпиады. Десять встреч — десять побед. Ему было тогда тридцать пять лет. Удивляло другое: Игнатюк всех противников уложил на лопатки одним и тем же приемом. О нем говорили, что он настолько был силен, что спокойно шел в обхват, а потом просто подламывал под себя. Пересказываю ему все, что слышал о его победах. Спрашиваю, правда ли?

— Карев насочинял, — отвечает Василий Васильевич добродушно. — Легко, мол, давались Игнатюку победы: по-медвежьему боролся. На крупных-то соревнованиях слабых противников не бывает. На силе и одном «коронном» приеме многого не добьешься. К твоей «коронке» быстро ключик подберут...

— Как вы боролись, Василий Васильевич?

— Долго рассказывать. Завтра у тебя ответственная встреча с Егошиным. — Игнатюк достает из кармана брюк блокнот с карандашом. — Смотри сюда, Коля. Две команды — наша и Кузнецка — идут впереди, имеют равное количество очков. От твоей победы будет зависеть все: мы еще ни разу не выигрывали у кузнечан, и вот сейчас есть шанс. Твое появление в команде прямо-таки вселило в ребят уверенность — они борются с огоньком, смело. И мне, старику, будет приятно увезти кубок. Об этом мечтают и кузнечане во главе с самим Матвеем Каревым. А Егошина победишь. Наблюдал все его поединки. Выигрывает на первых минутах — на большее его и не хватит. Он горяч, безрассуден. На тебя кинется, как только прозвучит свисток. Его «коронка» — бросок через грудь. Проведи контрприем — опереди на секунду... А помню его мальчишкой — технарем был, но мыслить на ковре не умел.

Игнатюк замолчал, стал медленно раздеваться. Повесил пиджак на плечики над кроватью, брюки и рубашку аккуратно сложил на стуле. Лег, растянулся на весь двухметровый рост.

— Возил Егошина не раз, — вновь заговорил Василий Васильевич спокойно. — Иногда Никита такое «отмачивал». Ударит противника — вроде нечаянно. Или неожиданно крикнет на весь зал: «Ах-ха...», будто хочет провести прием. Все эти штучки, которым его обучал Матвей Карев, никакого психологического влияния на противника не оказывали. Вызывали лишь смех... Вот спрашиваешь, Коля, как боролся я? Ничего нового не открою, если скажу, что — «головой». На олимпиаде первым мне попался швед — «железный» Густав. Положил его за минуту с «ломка». Начал «нырок», под руку, чтобы перевести в партер, он уклонился, потерял равновесие, и тут я его задавил «массой»...

— Но противник может и не попасться на эту хитрость. Просто не среагирует на перевод?

— Тогда я собью его в партер — это уже очко. А в партере — обя-

зательно что-нибудь сделаю. Смысл не в том, чтобы победить силой, интереснее — перебороть. Сила нужна — бесспорно. Без техники, выносливости, способности тактически строить схватку — на ковре делать нечего. В общем, со всеми я так и расправился: кого уложил со стойки, кого с партера. Итальянца клал два раза: сначала с «ломки», но арбитр, финн, «туше» не засчитал: решил, что я провел прием с подножкой. Ужасно неприятно, когда думают, что ты боролся нечестно. Вот и пришлось повторить... Что, Коля, разочаровал я тебя?

— Почему же, Василий Васильевич? Я никогда не видел вас на ковре, а между тем этот «ломок» как-то у меня получился на тренировке, и я его отработал. Матвей Карев был во многих странах, чемпион мира, призер олимпиады, а никогда ничего путного не расскажет. У него — хи да ха: «Схватил — бросил! Работать надо — понял? Передай другому!»

— Коля, — позвал меня Игнатюк, повернувшись ко мне лицом. — О чем ты думаешь во время схватки? Смотрю иногда на тебя, а ты какой-то отрешенный, вялый, будто не высыпаешься. Ну, думаю, Колян забыл чего-то, силится вспомнить — и не может. Вот такое у меня впечатление. Только отвернулся, а ты уже сверху, уже «давишь», и что провел, как, не успел заметить. Расскажи мне, честное слово, интересно...

Я рассмеялся. Такое о себе я слышал впервые.

— Однажды думал о девушке, которую любил. Она была в зале. Мой противник ухаживал за ней. Мне надо было его победить, ох, как надо было. Но победить по-джентльменски: девушка разбиралась в спорте, не терпела фальши... Моя память хранит много схваток. Это борцовская память, когда, кажется, не мозг, а сами мышцы помнят все: от рукопожатия противника и до объявления победы. Это навсегда остается во мне, будто мои мускулы ощущают железную хватку чужих рук, будто ловлю то короткое мгновение, когда соперник пойдет на прием и я должен упредить его, потому что упустить это мгновение — значит проиграть. Я не бегу от противника, а прижимаюсь к нему, угадываю, какие мышцы у него напрягаются, и знаю: сейчас, скажем, он проведет бросок за руку, а мне только надо успеть поймать его за пояс — и с ходу бросить через себя. Как на поле боя: встретился с глазу на глаз с врагом, угадал его движение — и выстрелил первым. Замахнулся — получай пулю. И еще думаю о том, чтобы бороться на краю ковра, спиной к центру. Если первым брошу я, то на середину, и противнику не уйти. Если же бросят меня, то я вылечу за ковер. Это, сами понимаете, не уловка, а тактический ход.

— Нечему мне учить тебя, Коля, — сказал Игнатюк, натягивая на себя одсыло. — Ты на правильном пути... Любил я, Коля, трудных людей. Трудные да неудобные, как правило, талантливы, у них сильный характер. С ними больше возни, хлопот, но стоит убедить их в чем-то, заставить поверить в идею — и нет союзника более преданного. Это, так сказать, тебе на будущее.

Мне, ободренному похвалой, пришла мысль рассказать Игнатюку о предложении Матвея. Интересно, что скажет «патриарх»? Ведь он

прожил большую жизнь, понимает, что к чему: может, Егошину в самом деле надо помочь?

— Тут Матвей Карев был... — и я рассказал Игнатию все.

Василий Васильевич удивительно резво поднялся, несмотря на большой вес, одышку, и стал быстро одеваться:

— Я ж ему сейчас.. Уши оторву... скажу, так и было. В партер поставлю — и он у меня весь пол в коридоре вылижет. Он, наверно, забыл мою «промакашку»...

Я не знал этих приемов, поэтому не на шутку встревожился.

— Не надо, Василий Васильевич, прошу вас, — взмолился я. — Как-то не солидно. Выходит, что я наябедничал. А он, Карев, возьмет и скажет: «Я Поселенова разыграл. Он шуток-то не понимает!» Меня на смех поднимут. И вам достанется...

— Ты прав, Коля. — Игнатюк растерянно сел на кровать. — Не хочется верить, что Карев до этого дошел. Не укладывается в голове у меня. Ну и наворачивает он дел, когда я окончательно уйду. В том-то и беда, не поймешь, то ли он в шутку, то ли всерьез. Невыносимым стал. И многое ему сходит с рук — нарушение режима, расхлябанность: как же — звезда, член сборной страны. И носятся с ним — интервью в газетах, портреты... Да, забыл он мою «промакашку»... А Егошин-то хорош! Как его после этого уважать? Лично я дорожу дружбой спортсмена. Стремлюсь и словом, и делом помогать ученикам. Настоящих спортсменов нельзя обижать мелочной опекой. И еще очень важно: тренер не должен быть злопамятным, — закончил Игнатюк и лег спать.

Пора кончать с этими шутками. Сейчас я их проучу. Навек отобью охоту шутить. Снимаю трубку, набираю номер Матвея. Он сразу, будто ждал моего звонка.

— Это ты, Николай, молодец! Надо, старик, понимаешь...

И я вдруг понял, что он не шутит, и мороз пробежал у меня по спине.

— И ничего тут зазорного нет, — вкрадчиво говорит Матвей. — Никто ничего не заметит; ты же не в форме...

Возмущенный, швыряю трубку, а на душе — гадко. Василий Васильевич, наверное, спит, натянул одеяло, отвернулся к стенке. Я выключил настольную лампу. Сон не приходит. Смотрю в темноту на Игнатию и будто вижу его добрые глаза, вспоминая Ивана Золотаева, сравниваю... Да, да... Игнатюк — это Золотаев, Карев — Гвоздев, а я... Выходит, что я должен «сыграть» Федюшку. Нет, это не по мне. Что тогда я сделал? Выбил ведро и разом покончил...

Егошин сунется — проведу «ломок»: он ведь наверняка забыл про мой контрприем. А как здорово будет: Егошин спокойно поймает меня на свой коронный прием — передний пояс, а я его — бац! И поделом, и поделом. Неужели он думает, что победит меня? Он всегда заставлял нас, пацанов, отрабатывать прием до автоматизма, говорил при этом, что никакой контрприем не поможет, если... Одним словом, завтра все решится. Однако, плохо он меня знает, хотя и был долгое время моим тренером. Ну так что же, тем хуже для него.

На следующий день мы встретились. Егошина я положил на третьей минуте. С ним случился обморок. Он лежал на спине, закатив глаза. Кто знает, возможно, это был заранее отрепетированный спектакль? Все-таки я бросил-то его на ковер, а не на асфальт. Я стоял у судейского столика и слышал, как Матвей говорил главному судье:

— Поселенов провел прием с подножкой, явно с подножкой, и я заметил... Да, представьте себе, заметил. Вы ведь тоже заметили? Ну, скажите же, заметили? Поселенов травмировал Егошина. Надо пострадавшему отдать победу. Я бы, например, так и сделал. Вот на первенстве мира в Риме...

Я спокоен. Прием сделан правильно, схватка выиграна честно, и все видели это. Егошина привели в чувство. Тут же объявили победу мне. Егошин пожал мне руку. Вместе идем в раздевалку. Мои товарищи по команде бегут за мной, готовясь защищать меня, так как в зале несколько сторонников Карева кричали, что была подножка. В раздевалку набилось много спортсменов. Борцы разделились на две неравные части. Малую возглавлял Карев и Егошин, большую — я и Василий Васильевич Игнатьюк. Но события приняли иной оборот. Егошин вдруг обнял меня и заплакал: «Все кончено, все...»

Плечи его сотрясались. Я понимал, что это от нервного перенапряжения, но все-таки мне стало его жаль. Смотрю на борцов и вижу, что многие уже на его стороне. Мне было неприятно, и я почувствовал себя в чем-то виноватым. Нет, плохо поступил с Егошиным. Надо было просто не явиться на встречу «по болезни»... Мне бы это ровным счетом ничего не стоило. Мне эта победа ничего не давала.

С тяжелым сердцем пришел в гостиницу. Лег спать. Ворочаюсь. Нервы не уgomонились, меня то и дело подбрасывает, словно от электрического тока. Среди ночи проснулся. Овации, которые гремели в зале днем, отдавались у меня в ушах. Шум заполнял всю комнату. Сел на кровать. Во сне или наяву этот шум? Явно вижу, как провожу бросок, и Егошин лежит спиной, ударяется лопатками, закатывает глаза. Неужели был настоящий обморок? Напротив меня спит Игнатьюк. И вдруг вновь слышу эти вопли, бешеные крики и чувствую, как стучит мое сердце...

3. МЕСТЬ

Не забыть последнее выступление на всесоюзных соревнованиях. Оно принесло мне немало горя. Первые годы, как бросил борьбу, избегал встреч с друзьями-спортсменами, не ходил на соревнования, отказывался от судейства — отрубил, как говорят, все концы. Вырвал из сердца то, что любил до безумия, чему отдал много времени и сил — физических и духовных. А как меня тянуло на ковер в первое время! Я не спал ночами — боролся с мнимыми противниками: проводил броски, расслаблялся, обливался потом. Прошло уж более десяти лет с моего последнего выхода на ковер, а я до сих пор вижу во сне, как борюсь и побеждаю.

Мне тогда было двадцать семь. Мои друзья становились чемпио-

нами Европы и мира именно в двадцать восемь-тридцать лет. В то время был уверен, что судьба, наконец, повернется ко мне. Ведь старание всегда окупается. Нет же, не получилось...

Мне не хватало трех побед для выполнения нормы мастера спорта. К соревнованиям готовился несколько месяцев. Соблюдал режим, бегал кроссы, тренировался на ковре четыре-пять раз в неделю. Мне предоставлялась возможность занять призовое место, войти в сборную страны, выступить на предстоящем чемпионате мира. И путь к финалу прошел немалый: город, область, зона, республика.

Жеребьевка на сей раз сложилась для меня удачно. В первые два круга попали перворазрядники. Я без труда «уложил» их. В третьем круге мне выпало счастье бороться с Денисом Филатовым, моим одноклассником: мы несколько лет назад вместе поступали в индустриальный техникум. Денис стал заниматься борьбой на три года позже меня. Я отдавал Денису все — секреты отработки приемов и тактики, познакомил с методикой моих тренировок. И все-таки он проводил броски не так чисто, как мне хотелось, и я часто говорил ему, что ничего путного из него не выйдет.

Однако мне в нем нравилось упорство, с каким он вел схватку. Даже проигрывая с крупным счетом, он не расслаблялся, поэтому часто выигрывал встречи на последних минутах. Победы над ним не были легкими. Со мной ему не везло. Из десяти официальных встреч он не выиграл у меня ни одной. И все-таки Денис Филатов стал мастером спорта, а я нет. Он поступил в политехнический институт. Успешно окончил его. Он стал главным инженером угольного разреза, а я сделался учителем труда, притом весьма посредственным, и, к счастью, для меня, вовремя понял это.

«Если я чисто выиграю у Дениса, — размышлял я, — то в четвертом круге встречаюсь с одним из мастеров спорта, ростовчанином или москвичом. При любом исходе попадаю в пятый круг, в котором уже борюсь за призовое место. А там все будет зависеть от меня. Финал есть финал. В нем слабых нет. Все будет решать психологический настрой...» А тут еще одна моральная поддержка: главным судьей на нашем ковре будет Матвей Карев.

...С первых же минут я пошел в атаку. Надеялся выиграть у Дениса за несколько минут, чтобы сохранить силы для следующей встречи. Вдруг на третьей минуте получаю первое предупреждение за подножку. Но ведь прием был проведен чисто. Смотрю краешком глаза — Матвей похаживает за судейским столиком. Делает вид, что он к этой схватке не имеет никакого отношения. Борются, мол, его земляки, и он, чтобы не быть пристрастным, поручил судить нашу схватку своему помощнику. Но я понял игру Матвея, поскольку знал его с детских лет. Вновь останавливают нашу схватку, подзывают меня и Дениса к столу, предупреждают, чтобы мы боролись, а не толкались... Настроенное испорчено. Я, как говорят, «отрабатывал» схватку. На рожон не лез: у меня было два балла за проведенный прием. В конце схватки судья-информатор вдруг объявляет нам третье предупреждение, и меня снимают с ковра.

Победил Денис. Мне было обидно. Неужели Матвей сводит со мной счеты?

Дальше участвовать в состязаниях не было смысла. Чего греха таить, с ковра я ушел со слезами на глазах. Сидел в раздевалке и плакал. Вошел Матвей, опустился на скамейку. Его массивная фигура возвышалась горой, широкое лицо было растянuto в улыбке и походило на большой желтый блин.

— Все, Матвей, бросаю борьбу, ухожу, — говорю я совершенно спокойно. — Пятнадцать лет отдал спорту, выходит, как коту под хвост! И засудил меня ты, и совесть тебя не мучает? Взял и махом зачеркнул...

— Пиши протест, — жестко сказал Матвей, и улыбка сошла с его лица, резко обозначились морщинки у глаз, бычья шея напряглась. — Только никто тебя не поддержит, и ты заслужил это. Помнишь Егошина? Нет его среди нас... На шахте погиб. Случайно, нелепо. Вот, читай телеграмму...

Я взглянул на телеграмму, и у меня все внутри похолодело. А при чем тут я? И вечно этот Карев со своими шутками. Не приходил бы тогда с этим предложением, и все было бы по-другому. Сейчас, выходит, он «чистенький». Мне хочется спросить у него: «Помнишь, Матвей, Игоря Валегова? Как тогда ты поступил с ним?»

Валегов подавал надежды — был скромным и трудолюбивым. Он увидел, как Матвей Карев на зоне уложил противника «через мост». Этот прием ему понравился. Он стал бороться по-каревски, но часто попадался. Егошин не мог научить Валегова проводить этот прием «чисто», потому что сам не знал его. Только Карев мог это сделать. Но Матвей не раскрывал свои секреты. На соревнованиях — пожалуйста, смотрите, запоминайте, фотографируйте, изучайте, а чтобы показать на тренировке — упаси бог!

Может, отказался бы Валегов от этого приема, но Матвей как-то сказал ему: «Мост, Игорь, у тебя «железный». Когда ты «стоишь» на нем, все девушки в зале влюблены в тебя — такой ты красивый и сильный...» Теперь Валегов попадал на мост вначале схватки, и «стоял» все пятнадцать минут. Никто не мог его положить, но по очкам-то он проигрывал. Пришлось Егошину отчислить Игоря из спортшколы. Мне же до сих пор непонятно, как Валегов выдерживал огромнейшую нагрузку. Откуда в щуплом парне брались силы? Поистине человеческие возможности безграничны! За всю долгую спортивную жизнь я больше не встречал борцов, которые бы продержались на мосту две-три минуты...

— А ты помнишь Валегова? — вдруг спрашиваю я Карева.

— Помню! — отрубил Карев. — Валегов не понимал, что у двух человек не бывает одинакового почерка — у каждого свои особенности. Надо было творчески осмыслить мой прием. Игорь же думал, что ему достаточно научиться бросать по-моему и он чемпион! Ха-ха... И когда я сказал ему про его «железный» мост, то хотел лишний раз убедиться, что у него и «медный» лоб. И давай, Коля, без аналогий: понимаю, что ты хочешь! Егошин-то был умница, настоящий друг... А ведь мог

бы жить, мог сидеть сейчас рядом: шутить, смеяться, разыгрывать! Какой парень был. Нет, Коля, тебе не место среди нас. Уходи! Может, в чем другом найдешь себя...

Карев поднялся и пошел из раздевалки. Глядя ему в спину, подумал: как же так, даже Матвей, друг детства, вдруг стал моим врагом? Я вспомнил разговор, который состоялся между нами несколько недель назад.

...На ковре Найденов. Мне даже не хочется смотреть схватку — противно. Он перед самым соревнованием заболел. Но Матвей Карев настоял на том, чтобы он все-таки выступил. Это было грубым нарушением правил: Найденов даже не взвешивался и, следовательно, не мог участвовать в соревнованиях. Дальше события развернулись так. Если внесли в список, то надо «тащить». В этом весе больше всех сняли борцов с ковра за «неведение схватки» и вытянули Найденова на первое место.

В коридоре столкнулся с Матвеем. Он проходит мимо, но я останавливаю его, говорю, что Найденову он, Карев, оказывает «медвежью» услугу.

— Найденов перспективный, — отвечает Матвей и улыбается. — Приболел немного, ну и что? Осенью мы его в институт «протолкнем». Сам понимаешь, что ему надо прилично выступить. Да и чего ты в бутылку лезешь? С богом отправляйся на пенсию. Такие борцы, как ты, сейчас не в моде... Вот Егошину «значок» нужен был. Жаль, что ты не послушал меня тогда, жаль... Вышел ты у меня из доверия. Сейчас мы на молодежь ориентируемся...

И вот теперь я понял, что означали слова Карева, так откровенно «засудившего» меня. Я-то думал, что он пошутил насчет «ухода на пенсию». Подавать протест... Когда это было, чтобы отменили решение судей? И я поднялся, швырнул борцовки и трико под лавку. Больше спортивный инвентарь мне не понадобится. Никто из ребят не пришел, не поддержал, хотя все видели, что со мной поступили несправедливо. Это со мной... А справедливо ли я поступил с Егошиным? После той встречи, когда рухнули его надежды, он запил. Его вскоре освободили от тренерской работы. Он пошел грузчиком, а потом работал слесарем в ЖКО и пил, пил. По вечерам приходил в спортшколу, но его, пьяного, не пускали, и он стоял за дверью и плакал. Ходил он грязный, оборванный. Увидев знакомого, подходил, просил денег.

— Бегу с рыбалки... — врал он. — Дома жены нет. Дай-ка на бутылку. Завтра отдам. С рыбалки-то не помешает...

Потом ему перестали верить. И ходил Егошин один, покинутый и забытый всеми. Как-то ввязался в драку и сел на скамью подсудимых. И вот сейчас Егошина нет среди нас... Прав ли Матвей Карев, отомстивший мне за него? Пройдут годы, прежде чем я в этом смогу разобраться. И все-таки не я толкнул его в яму! Известно, что «ранним-то» тренером Егошин стал потому, что болезненно переносил собственные поражения. А тут проиграл мне, своему ученику...

Иду домой, размахивая руками, как сумасшедший, разговариваю сам с собой. Мой дом на краю города. Живу в бараке. Занимаю с

семьей одну комнату. В ней две кровати, стол, этажерка и печь. Мария с сыном, наверное, спят. Генка всегда крепко спит после купания. Коротыце у нас висит над печкой. Жена ставит его на плиту, наливает воды, и начинается вечернее купание. Тут и плач, и смех малышки, крохотного существа.

Бреду по пустырям. Думаю о Кареве. Все можно понять, но только не это злорадство, подло подтасованный результат встречи. И желание растоптать, унижить... Распаленный обидой, я, возможно, преувеличивал. Я задыхался. Мне казалось, что все кончено, как в детстве, когда впервые познал людскую жестокость. Я наблюдал драку мужиков. Среди них был мой отец. Они били друг друга безжалостно, остервенело. Такие драки случались чуть ли не каждое воскресенье... Я орал, а отец стоял рядом, вытирал с лица кровь и улыбался. Ох, уж эти воспоминания детства! Всю жизнь они будут преследовать меня.

Вот и мой барак. В этом году перееду в новую квартиру. Директор школы обещал. Три года живу здесь. Каждую осень запасаю дрова, уголь, сваливаю все перед окном. Зимой уголь смерзается, и я рублю его топором. Мне соседи предлагают купить у них стайку, но я упорно отказываюсь: считаю, что живу в этом бараке временно. Отпираю замок. Кажется, что комната — надежное убежище от ночи, от жестоких, злых людей. В печке еще не прогорело. Подбрасываю дровишек. Заполыхал огонь. Красные блики на стенах. Теперь мне все кажется каким-то особенным, радостным.

Сажусь за стол, включаю лампу, беру ручку, достаю дневник. Проходит час, второй, третий... Когда рассвело поставил последнюю точку. И сразу почувствовал, как устал, как болит поясница, стучит в висках, а кончики пальцев рук и ног покалывает...

4. СТАРЫЕ ПИСЬМА

Некоторые письма Марии лежат нераспечатанные. Да что там письма — так, ширма. И буду-то их читать не очень скоро. Такой уж у меня характер. Никогда не читаю одну книгу дважды, не хожу во второй раз на один и тот же кинофильм. Тем более, зачем читать письма, когда наперед знаешь, что в них написано? Как здоровье, принимай то, не делай этого... Затем идет сообщение, как она там кушает, загорает, скушает...

Люблю я читать старые письма. Особенно после того, как «прокручу» Клавдию Шульженко... «Хранят так много дорогого чуть пожелтевшие листы...» На глаза наворачиваются слезы, а руки так и тянутся к письмам, которых у меня множество — прочитанных и еще нет. В молодости Мария мне много писала, писем было бы еще больше, если бы я отвечал чаще. И вот сейчас наступил важный момент: надо скоротать ночь, ибо с ума сойти можно.

Протягиваю руку, беру с книжной полки деревянную шкатулку. Вынимаю из нее пачку писем. Часть их потеряна или выброшена, некоторые страницы оборваны, нет ни начала, ни конца. Раскладываю

листы в таком порядке, в каком они были написаны. Начинаю читать и мысленно комментировать некоторые письма.

«Здравствуй, Николай! Когда долго не видишь человека, нет с ним никакой связи, ты не забываешь о нем, нет, витает, конечно, в голове образ, воспоминание — самое главное — перестаешь его ощущать. Да, да... Нет ощущения человека, есть что-то расплывчатое, далекое, немного щемящее. Но когда появляется нить (пусть это будет письмо), появляется ощущение тепла, можно услышать даже дыхание: ровное, спокойное; почувствовать влажность губ, неотделимость этого человека от себя.

Если раз в месяц такое состояние подкрепляется письмом, можно выработать условный рефлекс. Тогда будет трудно. Нам будет казаться, что мы нужны друг другу, что мы любим... Мне кажется, что это так. Почему я села второй раз писать письмо? Все потому, что на меня нахлынули воспоминания. Не «разбуди» ты меня своим письмом, все было бы по-другому. Ведь наши отношения — это не сон, который можно пересказать, долго помнить, а потом все же забыть...

У меня страстное желание писать тебе еще и еще. Быть может, этим я живу. Я сама толком не знаю, чего хочу. При встрече мы будем другими, уверяю, нас ждет разочарование.

Мое письмо полно противоречий. Почему мы цепляемся за почти оборванную нить? Что ищем мы? Это ужасно. Остались бы милые воспоминания, без щемящей тоски и легкой опьяненности. А сейчас? Мне хочется говорить, говорить и гозорить. Мне не нужно даже тебя видеть. Хочу ежедневно делиться с тобой мыслями. Я уже... Мне кажется, я сегодня переступила какой-то порог. Надеюсь, ты понимаешь меня! До свидания. Мария».

Да, Мария, очень даже понимаю. Это я первый написал тебе письмо из армии. И не потому, что ребята писали девушкам от скуки. Ты же знаешь, что только я любил тебя, причем такой именно любовью, которую ты придумала в детстве. Просто я «вписался» в твою модель, и заслуги тут моей никакой нет.

«Здравствуй, Николай!

Честное слово, но я тебя уже стала забывать, черты стали расплываться, только привычка твоя — потирать лоб рукой — осталась в памяти. Захотелось написать тебе. Сегодня выглянуло солнце. Вспомнила всех нас: Якова, Никиту, Матвея и тебя, конечно. Наш пляж на берегу Томи, у высоких тополей... Безмятежную нашу жизнь. Если я точно тебя поняла, ты скоро должен демобилизоваться?

Николай, а как у тебя настроение? У меня что-то неважное. В кино не ходила целую вечность. Встретилась как-то с Яковым. Довольно интересная была встреча. Не сам факт встречи, а просто все это время, пока мы были вместе, мне хотелось смеяться. До свидания. Мария».

Ты веришь, что все будет хорошо, а я убежден в этом, потому и спокоен. Чертовски спокоен. Ни красавец Гурбин, ни рассудительный Егшин, ни известный на весь мир Матвей Карев мне не страшны. Конечно же, я ни на минуту не забываю наш пляж, а ты мне снишься каждую ночь. И никогда никому я не говорил об этом.

«Здравствуй, Николай!

Только что поговорила с тобой по телефону и вот села писать. Спать после дежурства что-то не хочется. Грызу большое алма-атинское яблоко и пишу. Опять пишу не в срок, поэтому сразу получишь два письма. Чтобы сравняться с тобой, писать прекращаю, буду ждать ответ. От тебя дождешься!

Недавно у нас была патологоанатомическая конференция. Я впервые принимала в ней участие. Очень интересно. Слышала, как «ругаются» врачи, вскрывая свои ошибки. На повестке дня были два вопроса, оба случая—несовпадение клинического и анатомического диагнозов. Предлагают мне работать патологоанатомом (между прочим, очень дефицитная специальность). Вчера проходила мимо своей родной аптеки. Так захотелось там поработать: размешивать что-нибудь в ступке, сделать какую-нибудь микстуру или «покрутить» порошки. Почему я решила сменить специальность, сама не знаю. Да, кстати, ты тоже (в который раз) сменил свой профиль работы? Хотя в этом мы с тобой похожи.

Обнимаю, поцеловать не решаюсь, раз тебе не понравилось (почему?) мое последнее письмо, а я как раз там только и делаю, что целую тебя. До свидания. Мария».

Я уже демобилизовался, учился и работал. Ты позвонила мне. Но что я мог добавить к тому, что уже писал. Что надо мне учиться, что это надо и для тебя, много работаю. Да, так было. За год-полтора успел сменить несколько мест. Все не то, не то... Прости, дорогая, но я не читал еще того письма, в котором ты целуешь меня. Поступаю дурно, но ничего с собой не могу поделать. Ты же знаешь, что будешь моей женой, так зачем эти волнения? Или, быть может, в той «модели», которую ты придумала, это предусмотрено? Тогда давай, дерзай. Теперь-то я буду точно знать, когда наступит день и ты будешь у меня. Я могу побиться об заклад с кем угодно, что угадаю, после какого письма ты приедешь. И я приготовлюсь: найду комнату, куплю кое-какую старую мебель для временного пользования. А пока... Пока буду спокойно ждать...

«Добрый день, Николай! Я обычно пишу письма в тот же день, когда получаю ответ. Да, это уже чувствуется, что ты «пришел в себя». Этого, конечно, следовало ожидать. Письма — вещь хорошая, но в них не всегда выскажешь все то, что волнует. Ты давно не писал мне, следовательно, ты действительно устал от всего... И еще — не нужно оправдываться, что много работы, ведь я тебя не контролирую и не требую отчета. Не нужно так рьяно писать «о своей занятости», вот уже в котором письме. Это хорошо, что мои письма приносят хорошее настроение. Быть может, они действуют на тебя, как на некоторых наркотик? А интересно, как на тебя действую я сама? Конечно, не так, как наркотик, а то бы мы давно уже встретились. Ты же понимаешь, что нам нужно встретиться! Ты же сам чувствуешь, что встретиться нам необходимо. Если этого не будет в ближайшее время, мы будем абсолютно чужими. А тебе не кажется, что встреча стала долгом?

Звонила Гурбину. В ответ услышала: «Это ты, лапонька моя». Во-

первых, сразу узнал меня, во-вторых, сразу пригласил к себе, будто я все эти годы была около него. Вот так, Коленька, дорогой...

Извини, что вымарала строчку. Когда прихожу домой и мама говорит, что мне кто-то звонил, я расстраиваюсь, теряюсь в догадках. Что-то я сегодня не в настроении. Мне было хорошо до сегодняшнего дня. Что случилось со мной, сама не знаю. У меня часто бывает, когда я замыкаюсь в себе, ни с кем не встречаюсь и все ночи подряд пишу стихи о любви. Можно, я буду с тобой откровенна? Мне кажется, что я повзрослела. Я стала перечеркивать события, которые когда-то считала главными, а то, что откладывала на задний план—всплыло, тербит душу. Тебе смешно? Да, конечно, ты скажешь, что в моем возрасте люди не только взрослые, но и зрелые? Верно. Но я не знаю, почему у меня вышло так, что до 26 лет я росла как тепличное растение, пребывала, так сказать, в детстве. Я жалею об этом. Быть может, я очень многое упустила в своей жизни, живя в неведение. А сейчас мне трудно что-либо решить, сделать самостоятельный шаг. Ты, Николаша, знаешь, у меня бывают минуты, когда некому сказать слово, не с кем посоветоваться. Я счастлива, что нашла тебя. Не пойму, как могла встретиться именно с тобой, открыть тебя: ведь вначале ты показался странным. Думала: что это за человек? Просто было интересно. Ты, кажется, очень добрый и мягкий. Знаешь, что мне больше всего запомнилось: наш последний вечер, когда мы сидели на берегу, Томи. У тебя было серьезное и немного растерянное лицо. Таким я тебя видела впервые...»

Нет, Мария, мне совсем не смешно. И ты сама приедешь ко мне, когда наступит час. И это время подходит. Иду, дорогая, искать угол, а потом жду тебя. К твоему приезду все будет готово. Ты пишешь, что вспомнила наш последний вечер... А я и не забывал его, помню всегда и не забуду до конца дней своих. Именно в тот вечер ты стала моей, и я понял, что на всю жизнь. Тот вечер навсегда связал нас, и он, опять же, был тобой «запрограммирован», иначе чем объяснить ту легкость, с которой ты отдалась мне? Эта мысль поразила меня, и вот поэтому-то я был таким серьезным и растерянным...

«Здравствуй, Николай! Мой милый, добрый друг. Мне сегодня очень плохо. Все эти старые «друзья» ужасно надоели: звонки, звонки... Как хочется побыть с тобой, просто помолчать и даже поплакать. Я тебя очень ценю, твоя дружба для меня — подаренный талисман. Сегодня я не в себе, кажется, что схожу с ума. Мне так плохо. Завтра дежурю ночь в терапии. После дежурства надо отчитываться на конференции. Вот видишь, я уже сама отчитываюсь. Время-то идет... Целую так, как целовала в последний раз! До свидания. Мария».

Письмо пришло 10 ноября 1962 года. Я сохранил его еще и потому, что в этот день мне исполнилось двадцать восемь. Случайное совпадение или ты, Мария, хотела напомнить мне о себе? Конечно же, я никогда не забывал, что ты на год моложе меня, но, сказать откровенно, нам рано-вато было жениться.

Ты приехала вслед за письмом. Мы поженились, и вот уже десять лет живем вместе. Как быстро пробежало время. Давно ли мне было восемнадцать! Спустился в шахту. Через два года поступил в техникум. С

третьего курса призвали в армию, а после демобилизации — снова техникум, последний курс и студенческая свадьба... А потом институт, скитания по учреждениям в поисках высокооплачиваемой должности и, наконец, это кресло. Круг замкнулся. Надо подводить черту. Об этом я и собираюсь тебе сказать, Мария...

Значит, все-таки я прав насчет твоей «модели». Выходит, я существую сам по себе, а твоя любовь, придуманная тобою, живет сама по себе и будет жить, если даже меня не будет рядом с тобой. Странно все это! А как же Генка, что скажет мой сын Генка?

Да, Мария, ты любила меня. И я не сомневаюсь в этом. Но это было «тогда», а ведь прошло уже несколько лет. Любовь-то, наверное, припустилась. Это терзает меня уже давно. Нет, Мария, нужно внести ясность в наши отношения. И письма, которые получил от тебя в этом месяце, прочту позже. Так-то спокойнее. И в этом есть своя прелесть. А вообще-то не могу признаться даже себе: боюсь я их, как огня. Вдруг в одном из писем ты уже «обо всем этом» написала? И что не любишь больше?.. А как же Генка, что станет со мной?..

5. БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Мои размышления прерывает звонок. Это Мария! Мое сердце учащенно бьется — готово выскочить из груди. Мама спешит открывать. На ее лице улыбка: часть забот обо мне теперь свалится на Марию. Сейчас я ей скажу!.. А потом мама увезет меня в Сосновку, к отцу. Ждет, поди, старик не дождется. Там, на вольном-то воздухе быстрее поправлюсь. Мария останется с сыном. Вообще-то Генка большой. Он сам решит, где ему жить и с кем. Он сейчас в пионерском лагере. На днях должен приехать.

Входит Мария. Она в новом платье из кримплена — на юге отхватила. В ее руках заграничная сумка из крокодиловой кожи и огромный букет цветов. Она бросается ко мне, целует и обнимает. Горячая волна ударяет мне в голову, приготовленные обидные слова застревают в горле. Я вижу седину в ее волосах, и слезы застилают мне глаза, а когда не в силах больше сдерживаться, прячу лицо в букет. Как во сне слышу ее голос: «Милый, как я соскучилась по тебе...»

«Золотиночка моя, — шепчу в ответ. — Значит, ты любишь. О, какой же я... Спасибо за все! Нет у меня сейчас слов, Мария...»

Поднимаю голову, и вдруг вижу в комнате мужчину, который пристально разглядывает меня. Знакомые черты, эта улыбка, и морда широкая, толстая — кирпича просит.

— Матфейка, Матфейка, — шамкает мама. — Откуда, как жа...

— А, тетя Даша, узнала! — воскликнул Карев, подхватил маму под мышки, поднял, поцеловал, поставил на место. — Вот в гости приехал. Встретил в Москве Марию, разговорились...

— Мама, я же писала! Неужели Коля Вам ничего не говорил? — Мария вопросительно смотрит на меня.

Пожимаю плечами. Сам думаю, что если бы читал письмо, то

черта с два бы вы меня здесь застали. Я бы уже в Сосновке был... Матвей решительно подходит ко мне, хватая мою руку, трясет, сжимает так, что хрустят косточки, но боли не ощущаю. Привык к ней.

— Ну, здравствуй, здравствуй...

Я слабо и бессильно улыбаюсь. В первый момент, как увидел его, хотел сделать вид, что не узнал. Смотрю снизу вверх на этого гиганта. Килограммов, наверное, сто двадцать. Вот раздобрел... От него веет здоровьем и силой. Он садится на диван, и я слышу, как жалобно скрипнули пружины. Матвей обвел взглядом комнату, стол с книгами, взял одну, полистал.

— Был в Москве... В Центральном совете. Утвердили директором спортшколы...

«Ну и был, ну и черт с тобой, директор, подумаешь», — мысленно говорю ему.

— В шахте свое отработал. Подземный стаж для пенсии имею. А какой я пенсионер! Ха-ха... Знаешь, Колян, подковы ломаю. Так что силенка еще есть. Вот что, Коля. Я — человек дела, сам знаешь. Мне нужен тренер в спортшколу, конечно, с высшим педагогическим, хорошими прошлыми заслугами. Последнее — для рекламы. Ребята таких уважают. Думаю, вновь поднять борьбу в области, заодно развить и вольную, и дзю-до. Кадры нужны, кадры. Берусь за дело с охотой, хотя пришлось меня долго «уламывать»: все-таки должность у меня была высокая, оклад...

«Да на тебе пахать да пахать, как говорил мой отец, ты в спортшколу, хитрюга. Да и оклад себе выторговал не меньше, а может быть, побольше. Поднимай, поднимай, сам и загубил, разогнал эти кадры...»

— Мы с тобой теперь сработаемся. Надеюсь, ты понял, что я слов на ветер не бросаю. Большими делами будем ворочать! Все у нас будут вот здесь... — Матвей сжал толстые пальцы в огромный кулак, и я понял, что годы не изменили его. В таком случае, мира между нами никогда не будет. — Давай, Коля, ко мне и не ерепенься. Беру две группы «классиков», и за глаза тебе хватит...

Ага, все-таки нужен! Не из милости приглашаешь на тренерскую работу, не из-за того, что Мария, возможно, там наговорила: выручать, мол, Кольку надо, и заболел-то он потому, что лишился любимого дела, а ни в чем другом так и не нашел себя. Она и мне эту мысль высказывала. Тоже мне, психолог. Карев же не из таких: он начисто лишен чувства сострадания — борьба, громкие победы сделали его жестоким и равнодушным к чужой беде. Если уж он позвал меня, значит, я ему действительно нужен. А нет в жизни большего счастья, когда знаешь, что в тебе нуждаются, что можешь и должен принести пользу. И я, конечно, воспользуюсь его предложением. Вот бы только встать на ноги. Поскорее бы, поскорее...

Вот так всегда нахрапом действует, напролом лезет. О прошлом не говорит, знает, что виноват, не оправдывается. Ведет себя так, будто ничего и не помнит. Оглядываюсь на Марию. Она вроде не слушает наш разговор, убирает стол, но по ее напряженной позе чувствую, что

она — вся внимание. Интересно, они случайно встретились или она специально съездила к нему? Договорились, конечно, и тут разыгрывают передо мной спектакль.

На столе появились яблоки, виноград. Матвей открыл свой портфель, достал коньяк и поставил на середину стола.

— Давай, Коля, соглашайся. Что тебе мешает? — будто ничего не понимая, говорит Карев.

Мне стало обидно до слез. И еще спрашивает. Сколько лет был рядом и даже ни разу не заглянул. А теперь, что, видишь ли, мне мешает.

— Костыли, — говорю, — болезнь под названием «псевдополиневрический дерматомиозит».

У Матвея округлились глаза.

— Как?.. Поди же... тьфу, напасть какая! А диагноз выучил, аж от зубов отскакивает. Я ж и выговорить не могу — язык ломаешь. Вот что скажу: втемяшил себе дурь в башку. Сидишь, напыжился, как царь на троне, а ну-ка, слазь...

Он сцапал меня, поднял, как пушинку, пересадил к себе на диван.

— Костыли, говоришь... Сейчас не будут мешать...

Он поднимается, берет костыли и один за другим ломает о колесо. Увидев мою коляску, стоящую в углу, усмехнулся, направился к ней, по пути сгреб с серванта лекарства, вышвырнул в форточку. Он сел в коляску, и она, затрещав, развалилась. Шины были спущены, поэтому велосипедные колеса сплющились; из них гроздьями посыпались спицы. Мария сидела за столом, закрыв лицо рукой, а мама стояла у стены и плакала.

Смотрю на разгневанного Карева и вспоминаю один случай. Мы ехали в поезде Москва—Орджоникидзе на первенство России. Я простудился в дороге, на левой ноге вскочил чирый. «Не буду, ребята, выступать. Заболел...» — сказал я. Сразу донеслось до Матвея. Приходит в наше купе.

— Покажи ногу...

Задираю штанину, а он ребром ладони бьет по чирью. Я взвыл от боли, но через минуту стало легко. Матвей промывает рану спиртом, заливает йодом, туго бинтует... Так же решительно он действует и сейчас.

— Вот так с твоими атрибутами. Ишь, чего учудил. И не стыдно? Гроза мастеров, тактик на ковре, скромняга в жизни, злодей на сцене. И вдруг такое: пособие по инвалидности получает, ха-ха... За кого ты, Мария вышла? Увел у всех из-под носа такую девку...

Он махнул рукой, сел за стол.

— Давайте выпьем. Когда встречаются старые друзья, наверное, не выпить — просто грешно, так, тетя Даша?

Матвей разлил коньяк в фужеры, а маме наполнил рюмочку. Я почувствовал, как боль в суставах то стихает, то накачивается, но отливы становятся с каждой минутой более длительными. Всем существом замечаю в себе перемену. Лицо Карева расплывается, прыгает. Голова моя то и дело склоняется к столу: страстно хочется спать. Тело рассла-

билось, как после парилки. Ах, как давно я не парился, не брал в рот спиртного...

— Тебя донести до кровати? — слышу насмешливый голос Карева. — Баиньки спеть?..

— Перестань паясничать. Это же ты, ты... — выкрикнул я и поперхнулся. Широко раскрытыми глазами смотрю на самодовольного, сытого Карева и хочу выплеснуть в его лицо коньяк. — Думаешь, за рюмкой можно все забыть? Тост за дружбу предлагаешь?..

Собираю все силы, поднимаюсь, беру фужер. Карев, поняв мое намерение, отшатывается от стола. Я уловил в его глазах страх. «Ага, боишься. Попался мне на контрприем! Нет, Матвей, я буду с тобой драться! Я-то думал, все кончено, а борьба продолжается. Победил я Гурбина, Егошина и тебя, Карев, как пить дать, «уложу». Я ведь упорный, ох, какой упорный... Ладно, Мария, ради тебя не сделаю этого!» Швыряю фужер на пол. Пошатываясь, как ребенок, только что ставший на ноги, направляюсь в другую комнату. Мама подбегает ко мне, чтобы помочь.

— Сынок, сам-то... как же...

Отстраняю ее рукой. Иду все увереннее. Чувствую себя не больным, а сильно, уставшим. Валюсь на кровать так, как свалился много лет назад, отработав первую смену в шахте. Тогда мне хватило одной ночи, одного крепкого сна, чтобы восстановить силы. А сейчас? Пусть это будет несколько дней, даже недель, но я уже слышу пронзительные сигналы моего тренерского свистка, вижу себя в спортзале, как руковожу схваткой, ощущаю запах пота. Ковер и манит, и зовет меня...